

Светлана Михеева

Открытое
Море

ПЕРЕПЛЁТ

Светлана Михеева

Открытое
Море

истории о любви

Иркутск
Издательская серия «Переплет»
2018

УДК 821.161.1
ББК 84(2=411.2)6-4
М 69

Книга издана при поддержке Союза российских писателей
и Министерства культуры РФ

Михеева С.

М 69 Открытое море: повесть и рассказы. — Иркутск, Иркутское региональное представительство Союза российских писателей, издательская серия «Переplёт», 2018. — 222 с.

ISBN

© С. Михеева, текст, 2018
© А. Мартынова, оформление, 2018
© Иркутское региональное представительство СРП

Турист



Звук исчерпал себя. Видимости тоже никакой. Остался один запах – сладковатый запах мертвеющего лета, привлекательный, холодный. Его не расчувствуешь как следует, попадая в ноздри, он согревается и угасает.

Сумерки накрыли холодным мешком группу, которая шла кое-как, прихрамывая, растягиваясь. Наконец, мужчины решили заночевать. Женщины заворковали радостно и сбросили рюкзаки.

Местность уже не просматривалась, но кое-что можно было разглядеть, например, белые валуны, окаймляющие речку. Бьющая между ними свое нежное тело, речка то ли пела, то ли плакала – звук ожил. Женщины, прислушиваясь, взяли котелки и набрали воды. Вера поскользнулась и ступила в воду. Это развеселило – дорога так измотала всех за день, что любое происшествие радовало.

Мужчины тем временем раздули костер и раскинули палаточный лагерь. Старший группы, крепыш Миша, узнав о происшествии на реке, предложил пострадавшей свои носки и водки, но получил отказ, потому что Миша был нахал да и попросту не в ее вкусе. Вера разулась, вытянула ноги к огню, а согревшись, надела собственные запасные носки. Ольга, соседка по палатке, выдала ей резиновые шлепанцы. Промокший ботинок нацепили на колышек чуть в стороне от костра.

Группа шла уже пять дней. Еще день – и они на месте, на диком горном курорте, где из недр изливаются волшебные воды, на раз обращающие больных в здоровых. Вера была здорова, ею двигало любопытство. Про

остальных она могла бы сказать, что они трудоголики в поисках отдыха или засидевшийся офисный планктон, запасающий свежий воздух на весь рабочий год. И больше ничего, даже имена Вера в первый день путала – ведь, незнакомые, списались по Интернету, встретились на вокзале у крайней кассы, где толпился народ, а кассирши были особенно горласты. Громкоговорители касс орали их нечеловеческими голосами. И сквозь вокзальный рев Вера слышала сначала только Ольгу, запомнила только ее имя, поэтому решила пока держаться с ней рядом.

Через пару часов, уже в поезде, присоединились к группе попутчики из другого города, а по прибытии на станцию назначения еще парочка — он и она в одинаковых синих куртках. Ко второму дню путешественники чувствовали себя так, будто сто лет знакомы, соревновались в остроумии, подначивали друг друга и помогали мелочами. Маленькое общество, вырвавшись из тесного городского мира, восторженно шелестело, как молодое дерево под ветром.

* * *

За ночь Верин ботинок высох. Как и за все ночи, за эту ничего не случилось. Только речные девы болтали, переговаривались, но ничего особенного так и не сообщили. Утром ветер носил по стоянке хрустящий пакет, высыпав оттуда смородиновые листья, добытые накануне для чая.

Вера выползла из парусиновой утробы первой, поймала пакет, босиком спустилась к речке, умылась. Вода обжигала. Камни, наполнявшие реку, поросли тонкими зелеными нитями. Увлеченные потоком, нити сопротивлялись судьбе, из последних сил держась своих камней. А люди разве не так? – подумала Вера.

Когда она подняла взгляд, замороженный противоборством воды и растений, движением и сиянием, она обнаружила между деревьями на другом берегу, совсем близко, коричневую гору. Гора покачивалась. Блеснул на солнце маленький глазик – и Вера набрала в легкие воздуха, чтобы закричать, но выпустила из голосовых недр лишь замысловатый писк, который и сама едва услышала. Она хотела убежать, но ее будто приклеило к месту. Рыжая гора покачалась еще с полминуты. А потом развернулась и, показав крошечный хвостик на широченном заду, погрузилась в смородиновые заросли. Когда растревоженные кусты замерли, Вера пошевелилась и часто задышала.

Она кинулась к палаткам, вокруг которых закипала утренняя жизнь.

Миша совершал гимнастику, комично потряхивая пивным животом — сказывался офисный режим, зато на руках змеилась отменная мускулатура. Эти руки пребывали отдельно, и даже каждый мускул в них будто существовал своей, физически насыщенной, жизнью.

— Миша, я только что видела медведя! — горло саднило, словно бы она накричалась. Мишины руки сгибались и разгибались, сгибались и разгибались.

— Повезло, — пропыхтел Миша. Красное лицо, похожее на старую вялую редиску, выражало натугу и больше ничего.

Ольга прилаживала сушиться отсыревшую за ночь куртку – забыла на улице. Невнимательная, она теряла, забывала вещи, и все-то для нее приходилось повторять по два раза. Ей прощали, ведь она была – вау! — актрисой кордебалета областной музкомедии, почти звездой. К тому же обладала парадоксальной выносливостью, шла неумоимо. Была в Ольге одна черта, которая од-

новременно притягивала и отталкивала Веру: странная манера, разговаривая, смотреть собеседнику через плечо, словно там находится нечто, кто-то стоит. Поначалу Вера все время оборачивалась. Но быстро привыкла. И было даже приятно испытывать такое: словно за твоим плечом парит кто-то вроде ангела-хранителя.

— Оля, я видела медведя! Только что!

— Повезло, говорят, это к удаче. На-ка... – Ольга равнодушно сунула ей котелок с водой – мол, пора кипятить чай, собираться. Может, Ольга, как обычно, сразу не сообразила, о чем ей говорят, о своем думала? Но Вера повторять не стала, разочарованная общим оборотом дела, взяла котелок и пошла к костру.

Страх, смешанный с восторгом, вызвал уверенность, что происшествие достойно всеобщего внимания. И когда население лагеря собралось за кипятком, Вера объявила торжественно:

— Народ, на той стороне реки я видела медведя.

Заволновались только синенькие, он и она в синих куртках, владельцы маленького цветочного бизнеса, сами робкие как тюльпаны. Но бывалые мужчины сдержанно, экономя слова, объяснили Вере, что на таких маршрутах косолапый — дело привычное, а в такой хороший урожайный год вообще нет смысла реагировать, тем более в отряде найдутся штуки, способные напугать и прогнать даже тираннозавра, а не то что какого-то там приبلудившегося косолапого.

— И вообще, ты видела, сколько ягоды? – укоризненно выступил вперед один, красавчик Артем. Словно оперу собрался петь, руку выбросил вперед, в сторону кустов тычет. Он бы мог понравиться Вере — такой стремительный, мужественный, скуластый. Взглянешь на него – прямо мужчина с картинки. Но за каждое свое

действие он словно ждал авторитетного одобрения от старших. Это раздражало. Вот и сейчас посмотрел на альфа-самца Мишу своими темными, длинными глазами. А четко очерченными яркими губами заискивающе прошлепал:

— Правильно я говорю, Михаил?

Миша согласно пожал плечами: конечно, не вопрос...

— Ну да... – покорно пробормотала Вера, огорчившись и даже забыв спросить, что же у них есть такое, что способно свалить тираннозавра.

Пара девушек, правда, заинтересовались медведем. И пока в лагере складывали палатки, Вера сопровождала Ксюшу и Наташу, любопытных по роду своего занятия – они сооружали новости в газете – на берег. Втроем они бродили вдоль речки, не отрывая взгляда от другого берега — вдруг медведь опять появится. А потом вернулись на стоянку. Группа снова встала на маршрут.

Пока шли, Вера изумлялась: как же так? Они долго идут, под вечер едва перебирают ногами, из впечатлений – трава, кусты, камни, чистоцветные открыточные пейзажи, а целый медведь – не событие? Но к обеду устала изумляться, сильно проголодалась.

На привале, втягивая лапшу и запивая ее крепчайшим чаем, она прислушивалась к разговорам — общему стрекотанию, которое, если отойти подальше, не отличалось бы от болтовни вечерних кузнечиков. Городская жизнь, если судить по этой стрекотне, у всех протекала примерно одинаково. В этой одинаковости Вера усмотрела сперва общность, а потом ужаснулась: как это похоже и на ее смурной сутулый быт, который просыпается вместе с ней, ничуть не удивляясь наступившему дню, и на покой отходит так же хмуро, опо-

лоснув лицо, вытащив из зубов застрявшие волоконца случайных впечатлений. Болезненное ощущение одиночества – вот во что может при определенных условиях превратиться общность! — поразило Веру, словно у нее схватило поясницу или она ударилась локтем. Когда компания поднялась, нацепила рюкзаки и выстроилась гуськом, готовая к последнему рывку, Вера пристроилась в хвосте, плелась грустно, одолеваемая смутными, какими-то неопознанными мыслями.

На ноги ей наступал Саша-задохлик — так Вера окрестила его в первый день. Правда, сразу убедилась, что Сашина хилая внешность обманчива – он пёр, как маленький вездеход, тощая шейка напрягалась, огромный потертый рюкзак покачивался наподобие верблюжьего горба. Саша работал в магазине спортивных товаров, где по субботам тусовались спелеологи, поэтому знал про активный отдых абсолютно все – и немного презирал честную разношерстную компанию, с которой выдалось ему идти в этот раз. Высокомерие свое он не считал нужным скрывать, и оно будто капало с его острого прыщавого носа. Вера, синенькие – и вообще всякие новички и слабосильные его раздражали. Вере казалось, что он специально наступает ей на пятки своими жуткими суперботинками. Так что она ни капли не жалела, что дала ему такое грубое прозвище.

До места добрались засветло.

* * *

Группа притормозила на перевале, чтобы сфоткаться на память. Еще один малюсенький рывок – и они наконец в точке назначения.

Такого местечка Вера еще не видела. Ёлки внизу стремились взлететь, помахивали широкими зелеными

крыльями. Облака висели низко, клочьями, будто ватный снег в детском саду — воспитатели подвешивали растрепанные кусочки ваты на нитках, липкой лентой прикрепляя их к потолку.

Ветер нахлынул – и унес все умные мысли, Вера не успела поймать ни одной. Она стояла на хребте чудовищного змея, замершего в своем времени, которое, по сравнению с человеческим, двигалось так же медленно, как время Вселенной. Она чувствовала себя маленьким паразитом, о существовании которого ни змей, ни Вселенная не подозревают. Маленьким одиноким паразитом, в компании таких же паразитов.

— Сюда надо идти с желанием очистить не только тело, но и душу. Святое место! — назидательный тон принадлежал (можно было даже не поворачиваться) Лехе, болтливому, умному, лысому. Он прикрывал свою голову мятой застиранной панамкой, а по вечерам натягивал плотную шапочку – по этому поводу мужчины нецензурно шутили. Леха с полпинка разводил костер, ловко двигался, рассказывал всякие вещи. Его болтовня полна была магии, слушатели немели и надолго замирали. В маленьком рюкзаке на груди Леха нес большой фотоаппарат. Он снимал то ли для каких-то журналов, то ли для собственного удовольствия. И сейчас выстроил всех на перевале, болтал и щелкал. Потом встал в компанию сам, аппарат передал Мише. Миша долго смотрел в фотоглазок и наконец, пообещав народу птичку, нажал несколько раз.

Вера присматривалась к Лехе. Ее отпугивала неопределенность его занятия, хотя это, конечно, романтично. Перспектива слишком определенных занятий, впрочем, ее тоже не устраивала. Один такой, слишком определенный, уже сидит дома, в свободное от службы

время танчики гоняет. Когда совсем определенно, тогда мужчина становится как деревянный – упал, отжался, и все, никакого душевного полета, думала Вера.

Наконец, покончив с фото, путешественники разноцветной цепочкой сползли с перевала. Внизу грызла булыжники сердитая река, не имеющая дна как такового – она была слишком мелка для того, чтобы иметь дно, просто волокла свое прозрачное тело по здешним камням откуда-то издалека — из неизвестного убежища к неизвестной цели. Берегов у нее тоже не было – она просто текла своей дорогой, по обочинам которой солдатами навтыяжку торчали высокие острые скалы.

Несколько раз путники останавливались, чтобы привязать к деревьям ленточки, которые предусмотрительно захватили с собой опытные – приношение здешним духам. Неопытные искали что-нибудь по карманам. Артем оставил желтую кулиску от куртки. Ольга устроила между веток губную помаду («Артистка!» — усмехнулась Вера). У Веры нашлись монетки, которые она щедро рассеивала в честь сойотских дочерей Должон и Молжон. Влюбившиеся в чужаков, Должон и Молжон заразились от избранников чумой и умерли до замужества — как раз по пути от своего стойбища к целебным источникам, в надежде спастись. Теперь Должон и Молжон охраняли тропу и долину. Вера любила подобные сказки и от отца-геолога, приносившего их издалека и отовсюду, слышала немало разных историй. Отец рассказывал их на ночь. Вера с головой забиралась под одеяло и оттуда слушала равномерное гудение его голоса. А потом отец погиб где-то в тайге. Вера никогда не могла принять этого. Отец казался ей живым – точно так же, как живы были в памяти его красочные истории.

Миша повел группу вдоль реки. Вера заметила по кра-

ям реки пирамиды, сложенные из плоских камней. Затем они углубились в лес, немного поднялись в гору и оказались на удобной поляне. С краю поляны возмутительно ярко краснела маленькая палатка, поверх которой сушились широкие мужские шорты, а возле поблескивали неношенной резиной сапоги. Над холодным кострищем болтался пустым плоский армейский котелок.

Леха встал возле палатки и позвал. Никто не откликнулся. Тогда, не спрашивая разрешения, новопришедшие разместились, покрыв поляну разноцветными стружьями своих палаток. А потом развели свой костер – большущий, больше, чем было нужно для практических целей.

В человеке есть что-то первобытное, его всегда тянет к открытому огню. Вера заметила, что при любом удобном случае человечество, где бы ни находилось, разводит костер. И в темноте, и при свете дня люди толкуются возле, хоть даже им и жарко. Влечет их его белая яростная глубина, смертельная и благодетельная. Они вдохновенно рвут зубами свои шашлыки, даже и очень жесткие, только потому, что в них поместился он, огонь. Вера сунула в костер палочку и не отпускала — смотрела, как зверь забирается по дереву и ползет к ее загорелой руке в надежде поцеловать.

В дальнейшем распадке уже бродил туман, похожий на огромное веселое привидение.

* * *

Сумерки вызвали к активной жизни летучих мышей. Птицы затихли. Хозяин красной палатки не появлялся, его ждали, чтобы формально убедиться в том, что ничье одиночество не нарушено. Формально – потому что никто не собирался никуда идти, даже если

бы краснопалаточник и возразил. Но все же мужчины слегка напрягались перед возможным объяснением. А Вере было очень даже интересно. Интересно наблюдать за мужчинами. Все лето ходит, ходит она в эти походы, послушавшись подружек Маринки и Людки, которые объяснили ей, что подходящего мужчину можно найти среди туристов. Ходит, ходит, а никого подходящего так и не «присмотрела». Маринка с Людкой, походницы недоделанные, сами бы сначала присмотрели, а потом советовали.

Впрочем, Маринке и Людке просто не повезло, считала Вера и отчаивалась. Но и не рассчитывала особо. К тому же подружки нацеливали ее на тот странный мужской тип, который распространен в женской мифологии и условно называется «настоящий мужчина». Что это такое, Вера представляла смутно. Но точно знала, кого не записала бы в такие: хищных маленьких чиновников в модных, но одинаковых синих костюмах, обедающих в ресторане, где она работала; хвастливых хипстеров, выбрасывающих на ветер родительские деньги или свою зарплату, чтобы покрасоваться друг перед другом; смятых, как алюминиевые баночки, работяг, согласных на многое ради ничтожного; пьяниц, а также бомжа Витю, хозяйничавшего на мусорке; сына маминой подружки Бориса, за которого ее много лет безуспешно сватали обе мамы — ее и Бориса; нынешнего сожителя и бойфренда Диму, любителя танчиков, который сидит неизвестно к чьей радости у нее дома — и так далее.

Всякий раз восстанавливая в голове этот печальный список, Вера переживала — а как же выглядит настоящий? По какому признаку его определить?.. Состоятельный? — да ну их, навидалась уже. Красивый? — не факт, Боря красивый, но дурак. Умный? — а если ока-

жется занудой? Творческий?.. Жизненный опыт подводил Веру. Она могла бы назвать только одного мужчину, которому присвоила бы звание «настоящего» — Виталика, ни умного, ни дурака, симпатичного, но не красавца, веселого, бедного. Но это было давно. И к тому же она была в него влюблена...

Логические цепочки отказывались выстраиваться и подчиняться полководцу-Вере. С Виталиком ничего не вышло, отучившись, он уехал к родителям в райцентр, не захотел остаться в городе, а Вера не захотела в деревню. И к тридцати шести Вера оказалась в житейском море без руля и ветрил: она не знала, что такое настоящий мужчина, ни в кого не была влюблена, а чувство любви к Виталику – то ли мимолетное, то ли крупное? – вспомнила уже с большим трудом. Дима же поселился у нее после свадьбы подруги, где свидетельствовал, как и Вера – они как будто бы понравились друг другу. Однако с каждым днем вскипала досада – то ли против Димы, то ли против себя самой. Она не могла больше выносить неподвижности – вероятнее всего, своей собственной. С каждым днем она все меньше понимала, чего хочет. Идея пойти в поход, чтобы посмотреть на тренированных, экипированных, самостоятельных мужчин, показалась ей в свете тоскливых мучений не то что бы хорошей – неплохой. Во всяком случае, на крепких, подвижных людей вообще приятно посмотреть. И вот она смотрит – и все меньше понимает, что же такое «настоящий», какой из них, как не ошибиться...

Уже вскипела вода, в нее запустили крупу и картошку. На земле отсвечивали банки с тушенкой. Вера никак не могла привыкнуть к этому походному вареву, которое они дружно именовали супом. Лучше уж лапша с кипятком, как на привалах, на скорую руку.

Вера с детства не выносила тушенки, которую в доме геолога хранили и ели в раблезианских количествах. Крошкой-девочкой она думала, что маленьких коровок живыми помещают в страшные банки, где они умирают, превращаясь в волокнистую материю, окруженную желе и жиром. Может, она и в кулинарный пошла, чтобы никогда не сталкиваться с тушенкой. Поэтому, может, и работала администратором в ресторане.

Леха следил за костром: подкрадывался к огню, двигал ветки. Огонь слушался, сосредотачиваясь под тяжелой посудинной, качая ее на своей красной волне. Вареву закипало. Вера наблюдала. Плавность Лехиных движений завораживала. Лысина его светилась.

— Давно фотографируешь? – Вера надела на палочку кусочек зефира (пакетик маршмеллоу она таскала в кармане куртки на такой вот приятный случай) и протянула к огню.

— На свадьбе начал. Жену сфотографировал – и понравилось.

Вера вздохнула – оказывается, занят мужчина.

— А чего путешествуешь один, без жены?

— Ребенка ждем.

Вера закрыла глаза, от стыда – у человека семья, а она тут пофлиртовать захотела. В темноте ее видно не было, но стыдно ей стало перед самой собой — так что ни в какой темноте не скроешься. Ситуация, что ни говори, унижительная.

Подбежали Ксюша с Наташей. Вера дала им зефирных кусочков, палочки — и все трое протянули руки к огню. Зефир раздувался, внутри его поселялся огонь.

К ужину появился краснопалаточник. Сумерки уже иссякли, уступив место ночному волнению. В сумерках нет жизни, на этой границе дневное существование

сменяет ночное, все неопределенно, самое время для миражей. Но как только дневная видимость пропадает вообще, как только человеческое зрение расписывается в абсолютном бессилье, из невидимого гнезда прилетают образы высокого томления и беспредметной страсти — образы неподобающей чистоты.

Человеческие существа жмутся к огню как к надежнейшему из укрытий. Ведь ночь — это как смерть, только ненадолго — звенела в Вериной голове прозрачная детская мысль, в тот момент, когда снаружи, вне ауры огня, в волнах свободной ночи, раздался густой свежий далекий голос.

— Порцию дадите?

Огонь взвился, дрова затрещали. Болтовня и стук ложек стихли.

— Зверь или человек? – пошутил наконец Миша. Он соображал быстрее всех.

— Петя. Турист, — подхватив интонацию, ответил голос. И человек шагнул на границу огня. Они увидели его и успокоились, заговорили.

Пришедшего накормили. Он уверил, что только рад соседству, а то уже заскучал. Хотя народу здесь бродит навалом, ему не повезло ни с кем познакомиться.

— Один пришел? — спросили его.

— Мои ушли неделю назад, а самому еще рано возвращаться. Решил кости погреть.

Пришлеца было видно нечетко – огонь и темнота искажают факты. Вера разглядела большие руки, повышенную лохматость головы и простоватого лица, допотопный свитер крупной вязки. У отца был такой – жесткий, колючий, с улыбающимися оленями.

Когда затеяли чай, то вытащили и коньяк, сбереженный для того, чтобы — по чуть-чуть — отметить при-

бытие. Пить в здешних местах не принято, объяснил Миша сразу, еще когда их поезд шкандыбал по звонким рельсам, утягивая пассажиров в неизвестность.

Петя убежал в сторону своей палатки и вернулся с гитарой. Общество аплодировало и ревело – гитары в компании не было, человек, ее обещавший, на вокзал не явился. Когда Петя запел, стало понятно, что им, натурально, повезло. Сосед пел свое, чужое, общеизвестное хорошим баритоном. Ему подпевали с восторгом Ксюша и Наташа, а Леночка-тюльпан оказалась обладательницей проникновенного сопрано, которым к тому же отлично владела.

— Училась на певицу в колледже, — словно извиняясь, пропищала она, отобрала у Пети гитару и затянула что-то не русское и не народное, но сильное, пробирающее.

Вера тоже хотела бы подпеть, но голосок у нее не пел, был маловат. К тому же она охрипла накануне, под впечатлением от медведя. Но душа пела, и про себя Вера подхватывала любое, что бы ни начинали.

А потом, отходя ко сну, ворочалась в спальнике, вспоминала старые песни, которые пел под гитару отец тысячу лет назад. Засыпая, она чувствовала себя космонавтом в надежном космическом корабле среди звезд. Она испытала надежное чувство, что, должно быть, сойотские сестры не умерли от чумы, а вылечились и все-таки встретились с возлюбленными. Возлюбленные умчали их в свою суровую долину.

У костра еще сидели. Но больше не пели, а говорили легким шепотом. Костер сник, тоже засыпал. Колебались неясные тени, ползли по боку палатки. Две из них остановились, зависли, колебались.

— Спокойной ночи тогда... — почти уж не владея языком, шепнула Вера.

Две смутные тени еще повисели за палаткой, а потом исчезли.

* * *

Наутро Петя оказался рыжим инженером заводского аэропорта.

Он выбрался из палатки позже всех, к полудню. И его все ждали. Никого не замечая, он понес себя за пределы лагеря, на берег. Прошел мимо Веры. От него волнующе и горячо пахло потом. Вера покраснела вслед удаляющейся рыжей фигуре. Она заметила растительность на широкой груди, прекрасные икры, и вообще...

Когда рано поутру Вера пошла умываться, то взяла с собою зеркальце. До того не брала. В зеркале увидела себя свежую, хорошенькую, несмотря на целых тридцать шесть. Осталась довольна. А вернувшись в лагерь, вдруг торжественно объявила:

— Буду готовить сегодня! – и отправила Ксюшу с Наташей мыть картошку, а Ольгу снарядила за водой. Сама вознамерилась добыть дикий чеснок, который рос за пределами лагеря, вдоль тропы, по которой они спускались.

Петя встретился ей на тропе. В его огромной длани болтался белый пакет, в котором просвечивало темно-красное.

— Я тут сгонял на турбазу, — он был очень доволен и открыл пакет.

В пакете лежал отличный кусок мяса. Добытчик – отозвалось в глубине Вериного существа. Она почувствовала умиление, и восхищение, и глупую радость оттого, что сегодня они проживут без мертвых карликовых коровок.

— Хочешь, после обеда сходим погулять? Там здорово, всякие фигуры... – предложил Петя.

— Ну да, отлично.

* * *

Турбаза лежала недалеко от лагеря — домики, обшитые разноцветно, кони, красный вертолет. Хозяин турбазы, рыжий, как и Петя (родственники – предположила Вера), добродушно показал им владения.

Потом Вера и Петя попили воды из минеральных источников. Дошли до горы игрушек, пластмассовых пупсов, барби и металлических машинок – их оставляют бездетные женщины, которые просят у сойотских сестер женского благополучия, объяснил Петя. Постояли возле деревянных скульптур – краснолицый идол у глазной воды, фавн с бессовестно торчащим членом, охраняющий мужской источник. Вера вспомнила сказку про Иванушку-дурачка, который окунался в разную воду – да и стал молодцом. Петя засмеялся: да, похоже на то...

Отошли от источников, и Вера упала на моховую перину, тревожную, необыкновенно мягкую. Попа и спина ее медленно намокали от таинственной воды, скрытой подо мхами. А она все разглядывала небеса и елочные верхушки. «Что про меня подумают?» — как будто бы горевала потом о намокшей спине, а на самом деле желала, чтобы подумали.

Следующие дни в горах прошли беспечно. Вере было не тридцать шесть, а восемнадцать. Петя смотрел на нее влюбленно. И под конец путешествия они все-таки согрешили.

* * *

Соседи обсуждали перемены: угрюмый полицейский Дима из пятой квартиры смылся, погрузив ба-

рахло в серую «Тойоту». Дворовая малышня наблюдала за погрузкой, свесив ноги с железных гаражей, растянувшихся цепочкой напротив дома. Сидя на гаражных крышах, детвора била пятками в гаражные стенки, чем сильно нервировала Диму.

На место Димы в пятую квартиру пришел на своих двоих рыжий здоровяк, морды не разглядеть, заросла щетиной. Детвора пробовала его дразнить, но рыжий закинул парочку младших школьников, к их буйному восторгу, прямо на козырек подъезда. После чего, понятное дело, сразу стал уважаемым членом пацанского сообщества.

— Верочка, у тебя новый мужчина? — с чарующим любопытством спрашивала тетя Женя, местная сплетница. Если она не выуживала хотя бы парочку сплетен, то сама сочиняла их, виртуозно. Вера подозревала, что даже тетиженина работа логопедом по меньшей мере наполовину состоит из выдуманных диагнозов. И предпочитала утолять жажду соседки к новостям, чем слушать потом о себя всякое.

— А что, хорош? — задиристо спрашивала Вера и смеялась про себя. Тетя Женя уносились вскачь, рассевать новость по квартирам.

Их пятиэтажка была стара — сама по себе и контингентом. Вера окончательно переехала сюда лет десять назад, после смерти бабушки. События ее жизни, безусловно, интересовали оставшихся бабушкиных подруг, их пожилых детей. Веру не удручало, а скорее забавляло такое любопытство. Иногда она специально рассказывала им небылицы, наблюдая, как с течением времени ее рассказы трансформировались, переходя из уст в уста, обростали невероятными подробностями.

* * *

Но вскоре старушки встревожились. Новая Верочкина жизнь стала их беспокоить.

— Верочка, очень громко работает у вас телевизор вечерами, я уже сплю — и то слышу, — Анна Николаевна, учившая Верочку русскому языку в средней школе, а теперь глубокая пенсионерка, была катастрофически глуха на правое ухо и почти глуха - на левое.

Вера извинялась, краснела, бледнела. Тетя Женя скоро объявила на старушечьем лавочном собрании, что поговорит с Вериным мужчиной, ибо Вера по вечерам всегда на работе, поэтому все проблемы от них, от мужиков то есть.

Старушки, похоронившие своих мужей, тетю Женю не поддержали, а те, чьи мужья еще резались в домино на теннисном столе детской площадки, выдали свое благословение.

И тетя Женя, женщина трижды разведенная и в отношении мужчин решительная, одернула кокетливый халатик на дряблом животе, распрямила плечи и, подправив завитый блонд, поднялась на этаж и позвонила.

— Молодой человек, откройте! Я знаю, что вы дома!

И еще звонила и взывала, решив уладить дело до Вериного прихода, а заодно и немного пококетничать. Но квартира молчала.

А за полночь опять потекли из квартиры звуки, хотя и помягче. Часам к четырем утра все прекратилось.

В последующие дни происходило то же – тетя Женя шла, звонила, призывала, нарываясь на глухую тихую оборону. Ночью телевизор кряхтел, рычал, шипел, но умеренней. На пятый день дверь открыли. Сама Вера сердито глядела из железной рамки входной двери.

— Ходите тут, мужчину мне пугаете! – рывкнула

Вера. Вид у нее был необычный – глаза блестят гневно, поверх служебной ресторанной одежды – халат, волосы растрепаны, лежат вкривь и вкось.

«Прямо дикая какая-то...» – подумала тетя Женя и больше, от греха подальше, не приходила.

Старушки разделились на два лагеря: одни – постарше — жалели Веру. Другие, впечатленные историей, слетевшей с тетижениных уст (в ней фигурировали: водка, наркотики, привидения и сам сатана), объявили Вере и ее «рыжему» войнушку. В ней участвовали: старший по дому, управляющая домом компания, мэр города, осчастливленный коллективным письмом, и санэпидемстанция, которую вызывали измерить уровень шума. Но из войнушки ничего не вышло – санэпидемстанция проигнорировала, мэру было некогда, управляющая компания не обнаружила нарушений – мусора, клопов, тараканов. А старший по дому, и без того распиленный вдоль и поперек сварливой женой, послал всех к такой-то матери и смотался на рыбалку.

* * *

Ближе к зиме встревожились Верины подружки. На работу она стала приходить неаккуратная. Не то чтобы лохматая или с грязными ногтями, но невыспавшаяся, руки поцарапаны, одежда вся в каких-то волосах, ногти обрезаны под корешок. А однажды пришла с фингалом.

— Ты должна его бросить! – зарычала шеф-повар Юлька.

— Да это случайно получилось, Петя тут совершенно ни при чем.

— Р-р-р-рассказывай! – Юлька в этих делах опыт имела, потому что сама страстно, увлеченно дралась с мужем. Но Юлька была валькирия – именно поэтому

работала на жарке стейков в ресторане «Викинг». Вера валькирией не была, Юлька это понимала и приготовилась вмешаться.

Тетиженин подвиг Юлька решила повторить в понедельник, как раз когда была Верина смена. Она отпросилась с работы, сказавшись больной. Прихватила с собой официанток Маринку и Людку, которые в этот день отдыхали. Вере ничего, конечно, не сказали. Втроем они заявили к подружкиному дому и полчаса звонили в домофон, то и дело поглядывая в окно на втором этаже, с голубыми шторами, Верино.

Наконец Людка догадалась стукнуть в окошко первого этажа. На них уже давно и молчаливо пялились из-за стекол разнокалиберные бабки и тетки, которые, судя по напряженным лицам, могли и полицию вызвать. Тетка, которая появилась в окне первого этажа, осмотрела Людку и задернула шторы, не пожелала говорить.

— Откройте нам! Мы в пятую! Домофон не работает, наверное! – заголосила Людка.

Но дверей им так и не открыли. А когда заступницы собирались уходить, из окна второго этажа, где плескались голубые шторы, донесся престранный звук, извергаемый, положительно, из мужского горла.

— Дома, гад! Не открывает еще, сволочь! Нажрался, наверное, скотина! – рычала Юлька, но на приступ не пошла, дала обратный ход. Маринка и Людка виноватым гуськом побрели за ней, как викинги за своей крылатой девой.

* * *

Вскоре, под давлением Юльки, Людки и Маринки, запаниковала мама Веры. После смерти мужа она оди-

ноко проживала на другом конце города, потихоньку учительствуя и терпеливо ожидая внуков. В жизнь дочери не лезла – Вера унаследовала независимый характер отца и на любые вторжения отвечала резко.

Петя маме нравился, и она уже всерьез примеривалась к роли бабушки. А что же теперь? Сколько еще ждать?.. Определенно, придется вмешаться, — храбрилась мама, обещая Юльке пробраться в квартиру дочери и все разузнать. Испекла воскресный пирог с рыбой и отправилась в гости.

Там она обнаружила чрезвычайно грустного Петю, подозрительно веселую Веру и непроходимый беспорядок: разрушенную мебель, грязные следы, комки пыли, какую-то шерсть. Маме тяжело далось зрелище бытового кошмара, а еще тяжелее — голодного Пети, со зверским аппетитом уничтожившего ее пирог.

Она вернулась домой и, не снимая обуви и плаща, погуглила: «Разгром в квартире грязь мусор некормленный муж диагноз». Несколько диагнозов услужливо выбросились на ее берег. Она, по общей женской привычке, выбрала самый устрашающий. И стала строить планы психиатрического спасения дочери.

«Как же это случилось?!» — задавала себе вопрос мама. Как дошло до того, что ее уравновешенная дочь сошла с ума?!

* * *

А на самом деле случилось вот что: Петя затосковал, начал реветь по ночам. Особенно в полнолуние.

Вера сначала не поняла. Проснулась как-то ночью в холодном поту, села на кровати, видит – гора в окне качается и жалобно ревет. Боже ты мой! – всплеснула руками Вера.

И так он ревел почти каждый вечер. Тогда Вера придумала кормить его поплотнее, а на десерт давать ему меду, и побольше. Так, с трехлитровой банкой в обнимку, он и засыпал на полу под окном, насытившись.

Холодные тонкие стены пропускали любой звук, и Петин рев при таком раскладе предвещал скорый апокалипсис – приедет всадник тетя Женя на белом коне, Анна Николаевна на гнедом и так далее.

У Веры не было на такой неожиданный случай готового решения. Кто ж знал, что Петя так затоскует!

Она записала его к доктору, на утренний прием. Вечером Петя заупрямился, много рычал, оставил на дверях огромные царапины, вдребезги разнес монументальный бабушкин буфет. Но на утро, обессиленный, сдался, почистил зубы, побрился.

Доктор внимательно выслушал Веру, осмотрел Петю, отправил на анализы, рентген и томографию. По окончании исследований, выставив пациента за дверь, обратился к Вере.

— Я не вижу никаких отклонений. Но, возможно, следует показать его еще и ветеринару.

В октябре с Пети посыпалась шерсть, в промышленных объемах. Договорились, что Вера станет убирать квартиру утром, а Петя – вечером, до полуночи.

Однажды Петя вернулся домой и сообщил, что его уволили – он глубоко процарапал страшно дорогой механизм, что на заводе авиационного профиля совершенно недопустимо. После этого он перестал куда-либо выходить, сидел безвылазно дома.

А как-то раз Вера пришла с работы пораньше, еще даже не было двенадцати, да и луна в тот день уже шла на убыль – а дверь ей открывает огромный коричневый медведь. Тыкается в щеку грустной мордой и, ше-

веля хвостиком, отправляется в кухню, сварить кофе. Сердце разрывается все это видеть!

Вера поняла, что ей срочно нужно с кем-то поговорить.

* * *

Но как описать свое отчаяние Юльке, Маринке и Людке? В каких словах? Понятных слов у нее нет.

Мама не годилась для такого разговора, страдая тонкой душевной организацией. Езди потом на другой конец города, валерьянку ей капай.

Тогда Вера написала смс-сообщение Ольге. Перед тем, как написать, пару дней, проходя мимо театра, задерживалась, стояла и думала, не заглянуть ли, не потребовать ли разговора прямо сейчас. Театр, где Ольга отплясывала в кордебалете, переливался из адского красного в океанский синий и весенний зеленый. Сбоку точно так же переливалась церковь на горе, а напротив, скромнее, — водяной фонтан, который уже молчал, погруженный слесарями в спячку, но огоньки по его периметру еще светились белым ледяным светом.

Никаких разумных поводов для встречи не было. С Ольгой они после того похода не виделись, да и в путешествии, по большому счету, только соседствовали, в самом начале испытав друг к другу легкую симпатию. Поэтому, когда они встретились и уселись за тайный, отгороженный ширмой столик ресторана (того самого, где Вера работала), она и не знала, как начать, о чем заговорить. Накатывали, одно за одним, воспоминания – как они с Петей познакомились, как гуляли, как строили планы. Но Вера отгоняла их, болтала Ольге о каких-то пустяках, пытаясь как-то оправдать свое желание встретиться.

Наконец Вера решилась. Напомнила обстоятельства путешествия, рассказала о возникшем счастье и подвела к тому, что счастье ушло, будто его и не было. Ольга слушала и смотрела, по обыкновению, куда-то через Верино плечо.

Маринка принесла салат и две порции стейка. Ее лицо выражало крайнюю степень удивления.

Ольга качала головой, качала ногой. На лице ее тлели остатки театрального грима, она пришла прямо со спектакля.

Юлька всунула за ширму напряженную острую мордочку – как еда? не нужно ли еще чего?

Не нужно, улыбнулась великодушно и помотала головой Ольга. В Ольгиных ушах дрожали серьги – кораллы кочевников и ханская бирюза. Ольга подробно расспрашивала о Пете. Захандрил, с работы уволили, депрессия – отвечала Вера. Люська маячила за ширмой, умирая от любопытства. Вера выглянула, махнула на нее рукой, требуя удалиться, не мешать.

— И что думаешь делать? – Ольга вдруг уставилась прямо на нее, приблизив лицо. Огромные ресницы, покрытые блестками, превращали ее светлые глаза в две белые дыры. И Вере показалось, что оттуда, из белых страшных дыр, на нее глядит кто-то другой.

Воспоминания обрушились на Веру, захлестнули волной.

В них горная река разлилась, ее зеленое тело пенилось и шумело, погребая в себе всякий здравый смысл. Река встала на горную тропу, и течение поползло вверх, против всяких человеческих правил, затопляя по пути лиственницы, покрытые нежной шерсткой, накрывая минеральные источники, подминая деревянные головы и фигуры. Накрыло поляну с красной палаткой на

краю, накрыло почти уже всю тропу. Вода брала гору. Она могла бы поглотить всю горную цепь. Спеющий плод так наполняется соком, прежде чем одрябнуть и предьявить семена.

— Так что делать-то собираешься? — Ольга сморгнула, блестяшки посыпались с наклеенных театральных ресниц.

А что можно сделать, когда солнце уходит спать? Или когда наступает осень и тайга сбрасывает роскошную, но тяжелую желтизну? Или когда теплолюбивые гуси смываются в далекие страны? Что делать, когда всё, что ты можешь сделать – это поблагодарить?

Две мохнатые светло-голубые бабочки Должон и Молжон слетели с Ольгиного лица, оставив красный рот разговаривать. Они порхали, задевая блестящими крылышками о стены, колыхая воздух. Вера протянула руку, чтобы раскрыть ширму и выпустить пленниц.

...Выпустить? Она взглянула на Ольгу, лицо которой было пусто, и отдернула руку.

...Выпустишь, а он прибьётся к кому-нибудь...

Бабочки наконец вернулись на свое место.

...Ну и что, что прибьётся, пусть прибьётся.

Ольга встала и попрощалась — рано утром репетиция. Она снова, по обыкновению, смотрела мимо Веры, через ее плечо. Вера поблагодарила за разговор.

...А вдруг надо просто подождать – и у него пройдет? Ольгины каблочки смолкли.

...Или не пройдет? Не пройдет.

За штору вторглись подружки.

...Что же теперь, в цирк его сдавать, что ли? Слезы побежали, когда она представила, как Петя крутит педали несуразного трехколесного велосипеда, а вечерами ревет в клетке, сисясь выпросить если не свободу, то хотя бы маленькую баночку меда.

— Это кто была такая? – конкретно приступила к допросу Юлька.

...Кто сказал, что любимых надо в цирк сдавать или цепью к батарее пристегивать, чтоб не сбежали?

— Это его любовница? Любовница, да?! – не унималась валькирия.

— Гони ты этого рыжего, сдался он тебе! Мы тебе лучше найдем прям щас! Прям тут! Нормального найдем, денежного, в костюме! – распорядилась Маринка.

В костюме? Вот и верь после этого бабским сказкам про настоящих мужчин, — про себя засмеялась Вера. А потом засмеялась вслух. Смех ее становился громче, ударял уже через коридор в стены ресторанный зала. Посетители как растревоженные птицы поворачивали головы на звук.

Смех катался по эфиру как яблоко вдоль голубой каемочки, высвечивая славные картинки Веринной любви. И приглашал заглянуть дальше, в самую глубину, где любовь одноименна со свободой.

Маринка ускакала звонить начальству, отпрашиваться по причине форс-мажора. А Людка побежала за валерьянкой, которая есть лекарство мифологическое. Ну а разве в такой ситуации может помочь средство иного характера?

— Придется выпустить! – счастливо хохотала Вера, трепыхаясь в железных Юлькиных объятиях. Она наконец нашла точку своей любви, опираясь на которую сможет теперь всё что угодно.

Она представляла, как Петя радостно скачет по полю, задние его лапы обгоняют передние, шерсть лоснится под солнцем. Оно теплится над горизонтом, а потом закатывается, как детский мячик в темный угол, лишая суще радости. И всё проваливается в сон.

Өзүрчүк



История всякого сумасшествия — это история вынужденного воздержания, неосознанного и потому тяжелого. И начинается она задолго до того, как родился человек, как понесли его в пеленках крестить или кормить. Эта история начинается в те времена, когда о человеке нет и намека. Зарождается некая возможность, как зарождается славный сад. И однажды сад исчезает, его место занимает здание, красный кирпич которого такой красный, что в солнечный день мнится, будто он напитан кровью. На месте сада остается одно дерево, которое принуждено расти, ограниченное фундаментом здания, и асфальтом, который раскатали вокруг, и много чем еще. Листья его мельчают, ветки искривляются, плоды не вызревают. Дерево живет жизнью уroda, оно забывает своих родных, забывает свой сад. Так существует, пока наконец добросердечная буря не вырвет его, прекратив мучения. Дерево сожгут с прочим мусором. И слава богу.

...Ну а если конкретно, где ее, этой истории, начало? В нашем случае оно похоронено на Иерусалимской кладбищенской горе, теперь пустынной. Лишь редкие плиты веселит заблудившийся луч. Трава скошена под корень, хотя она здесь единственная прекрасна. Но о красоте никто не заботится, лишь о пользе. Польза превратилась во всеобщий кошмар. Ее производят, покупают и продают. Ее едят, с ней занимаются любовью, ее рожают. Как и любой избыток, этот порождает уродливые системы, способные обратить его в новую пользу – и так до бесконечности.

Но вернемся к кладбищу. Могилы на нем убраны. И убраны не теперь.

Могилы убраны давно. Мертвецы покинули гору, но нынешним живым так не кажется. Они думают, что купец Ландышев встает и бродит вместе с остальными. Он встает и мимо строгой Входа-Иерусалимской церкви, где его отпевали, спускается с горы по бетонной, советского производства, лестнице. Туманная фигура плывет среди почернелого дерева (прошел дождь, и дома почернели, и стволы лип, лиственниц, яблонь почернели) к большой торговой улице. Там модерн с классицизмом слиплись в приторную ириску. За этой улицей – еще одна. Здесь, уже на целый метр погруженный в землю, притаился желтый особняк. Его Ландышев построил для Гликерии и детей. Справа разбил сад. Вокруг, совсем недалеко, раздавалась тайга: выла по ночам на все голоса так, что Гликерия просыпалась, хваталась за грудь. А сад успокаивал, обещал скорую жизнь не хуже столичной. В окно нежно постукивала хилая молодая липка. Рябина свешивала грозди и качала их, своих детей. Ландышев нанял двух садовников, заказал стекла на оранжерею и разные садовые редкости.

Сад рос просторно, но от посторонних глаз скрывался забором. Деревья выросли и обняли забор, стали всем видны. Выросли и дети, отцова защита стала не нужна им. Да и одряхлел Ландышев, дети сами обняли его заботой. Раздав училищу и городскому театру приличные средства, он ушел на покой и скоро в полном почете и семейном довольстве умер.

Владимир, средний сын, вел отцовские дела широко и точно. Братья тоже пользовались всеобъемлющим уважением, хранили медали с надписью на лентах: «за полезное». Сестры, составив добротные партии, полу-

чили отличные выезды и помногу детей. Ландышевы уходили в небытие, завещая городу в наследство роскошные библиотеки, картины, приюты. Их любили за это. Последним из детей старика Ландышева скончался Владимир. Его слава превзошла прочие: Владимир осуществил красоту, в которой здесь, в этом жестоком и холодном краю, остро нуждались.

Он превратил отцовский сад в произведение ботанического искусства, выписав француза Тома, который, хлюпая остроносыми башмачками по осенней жиже, сперва изумился всему окружающему вкупе, а затем, переобувшись в крестьянские сапоги, вырастил в оранжереях ананасы. Ландышевы кушали ананасы, приглашали к обеду губернатора. А горожан попроще, чьи страждущие души через тернии невежества тянулись к красоте, но глаза не привыкли ее различать, почти пугали невиданные цветы и южные широколиственные деревья, которые на зиму обкладывали соломой. Владимир убрал глухой забор, открыл сад для посетителей, и Тома вел экскурсии, веселя гостей попроще своим убогим произношением. Под старость Владимиру стало казаться, что отец Ландышев является в саду и ходит, пересчитывает деревья, любит сына и ругает сына последними словами – зачем, мол, пустил чужих в мой сад.

* * *

Но и Владимир, подобно отцу своему, оставив любимый сад, лег на Иерусалимской горе, заросшей крестами. Там на семейном участке оставалось еще много места.

Но больше никто из Ландышевых в эту землю не ложился. Ее вскопали.

Благодородные плиты отправили на строительство,

а бедные кресты разбили и увезли в неизвестном направлении. Пацаны приходили к решетке кладбища и, разинув рот, смотрели, как в ковше экскаватора кричали мертвецы, теряющие свои кости. Кости падали из ковша, тряпье тлело на воздухе. И еще было много волос. Вся земля, казалось, изнутри заросла ими.

Над теми, кто остался в глубине земли, поставили огромное железное колесо. Оно плавно крутилось, взбивая воздух, делая его осязаемым, жирным, как темное масло. Колесо крутилось до самой ночи. А когда вставало на отдых, покачивало синими и красными креслами, как будто в них сидели потревоженные, разочарованные своей судьбой покойники. Если ветра не было, колесо засыпало, и вокруг него собиралась печальная тьма. Она ползла сюда отовсюду, со всей горы, которая днем трезвонила машинками, лошадаками, скрипела лодочками аттракционов, а вечером редела танцплощадками. Томилась вода в мелких бетонных бассейнах. А под защитой буйных кустов звучали влюбленные. Еще ревел в маленьком зоопарке лось. Он бродил над Ландышевыми, которых экскаваторы почему-то не тронули, терся о лиственницу, тянувшуюся к небу прямо от изголовья Гликерии (надгробия их увезли на какую-то стройку, чтобы использовать в советском строительстве). Чуть в стороне ютилась окруженная сеткой-рабицей танцплощадка.

Танцплощадка работала каждые выходные. И три студентки с исторического все время высматривали здесь одного знакомого. Они прозвали его Огурчиком и тайными записочками приглашали каждую неделю. Приглашали, дразнясь и будто бы не всерьез. Он никогда не приходил. Анечка чуть не плакала. Но Огурчик был такой – очень не простой, какой-то благородный, сильно

вежливый и, наверное, добрый. И поздно вечером разочарованная Анечка запрыгивала в последний автобус, который от парка культуры и отдыха вез ее домой.

С трудом проглатывая досаду, как детсадовскую комковатую манку, она ехала домой, к черту на кулички, в заводской район, где на заводском аэродроме ревели самолеты и ежеутренне свирепый гудок срывал одеяла с родителей и братьев. Они шатались по квартире, толкаясь и смеясь, дружно выходили из дома, шли по улице стайкой, ручейком, сливались с другими ручейками. За километр от завода по тротуару под акациями текла уже полноводная река, без страха выплескиваясь на мостовую. Рейсовый автобус весело бибибал реке, она входила в берега, но тут же растекалась снова. Анечка отделялась от реки, перебежала мостовую, махала автобусу, шмыгала в открывшуюся дверь и ехала в университет. Так происходило каждое утро – она отделялась, перебежала, впархивала в автобус, уезжала. Отделялась, впархивала, приближалась к другому миру, отдаляясь от своего. Иногда ей было так одиноко, хотелось пойти на завод со всеми, как раньше. Но мама смотрела на нее с надеждой – Анечка единственная из детей получала «вышку», – собирала для нее усиленный завтрак и на прощание горячо обнимала, напутствуя.

* * *

Галка и Лея поджидали Анечку, нетерпеливо и весело стуча каблуками о тротуар набережной. Они отлично устроились в новой, побольше, комнате общежития и вечером звали Анечку на новоселье.

— И Огурчик будет! – смеялись они. Анечка, хоть ей и было приятно сочувствие подружек, знала: Огурчика не будет, он, как всегда, не придет.

Огурчик сидел в аудитории всегда на один ряд ниже, чем она. Она видела его аккуратно стриженный затылок, воротничок рубашки. Между затылком и воротничком светилась загорелая шея, еще неокрепшая, как бывает у юношей. Анечка чувствовала себя безнадежно старой, обмякшей и даже морщинистой – недостойной прощальной нежности мужского тела, которое теперь стремится к прочности и силе. Анечке было двадцать, она знала мужчину — хотя ничего в тот раз и не поняла. Она представила Огурчика на месте этого мужчины – и ее захлестнула горячая ослабляющая волна... Но нет, он не придет. Он слишком особенный.

— А-а-н-нь?.. – прошептала Леля, которую встревожил долгий Анечкин взгляд и медленное сползание под стол. Она уже месяц корила себя за то, что нечаянно обратила общее внимание на этого зализанного школьника, всегда в пиджаке, при галстукке, будто в театр собрался. «Каков огурчик!» — издевательски процедила она подружкам. Так и осталось.

День развалился этаким барином. Краснели ранетки на низких яблонях, как узоры на барском халате. Студенчество побежало в столовую, что источала волшебные ароматы через два дома от учебного корпуса. Впереди – жеребята, прискакавшие в университет сразу после школы. Замыкали старшие — производственники, отслужившие, молодые преподаватели.

Анечка краем глаза следила за Огурчиком. Он не бежал, а шел замыкающим, оживленно беседуя с маленьким доцентом по кличке Зебра. Огурчик был необычайно умным, он все знал. При этом никуда не рвался, не лез на вид. Анечка еще раньше заметила, что Огурчик не ходит в столовую. И когда он, кивнув Зебре, свернул в ближайший переулок, припустила галопом, обежала

здание — и столкнулась с предметом нос к носу. Получалось, что им в одну сторону. Анечке – до остановки.

Они шли, ее бросало то в жар, то в холод. Огурчик двигался ровно, молча, экономно. Он не предложил взять ее сумку. Покрытый солнцем, как сусальным обманным золотом, стрекотал и постукивал город. Они нырнули во дворы и пошли дворами, которые вспыхивали последним румянцем перед затяжной, как обычно, зимой.

— Почему ты никогда никуда не приходишь? На танцы, например. Стесняешься?

— Я освоюсь, – пообещал Огурчик, улыбнулся оправдательно и поправил очки в тонкой металлической оправе. В таких очках любой будет похож на иностранца, на дипломата какого-нибудь, подумала Анечка.

Они двигались вдоль краснокирпичного здания, в котором затренькал вдруг громкий звонок. Справа от входа две большие липы несли караул в своих желтеющих шапках, как сторожа в огромных жарких малахаях.

— Я здесь учился. – Огурчик остановился и стал ждать. Массивные двери открылись, и оттуда посыпалась ребятня. Вышла женщина в полосатой блузе, Огурчик помахал ей. Она помахала в ответ.

Огурчик снял очки и принялся протирать стекла.

— Ты знала, что раньше на этом месте был сад, настоящий ботанический, с оранжереями?

Анечка помотала головой.

— И куда он делся?

Огурчик задумался. Он все натирал и натирал свои стеклышки. Руки совершали механические движения, все его тело, казалось, следит за этим. А глаза жили отдельно, они словно разглядывали что-то в глубине

воздуха. Огурчик не щурился, как обычно без очков, а будто бы все видел. Но что видел?

— Что ты там видишь? – Анечка заглядывала ему в лицо, переводила взгляд на школьный двор. Но сама видела лишь качели и бревно, на которое влезли две девочки и мелко прыгали по нему, как темно-коричневые воробьи. Парнишки пинали мяч, не щадя ботинок.

— Так куда он делся, твой сад?

Огурчик вздрогнул.

— Сгорел. В пожаре. Две липы остались. Жалко.

— А ты его видел?

— На старых фотографиях.

— А почему тогда – жалко?

Анечке подумалось, что ей ни капли не было бы жалко, хоть бы она и видела этот сад и пусть даже не на фото, а по-настоящему. Ведь построили школу, детям хорошо. Школа полезней, чем сад. Подумаешь, деревья. Они могут хоть где расти, еще вырастут. И вообще, скоро сады будут везде, даже на Марсе. Она вдруг представила себе картину из недалекого будущего: они с Огурчиком (он в черном парадном костюме, она в коротком платье и в белой газовой фате с цветочками) машут остающимся на Земле, а сами улетают в свадебное космическое путешествие...

* * *

Когда спустя годы Анечка по-настоящему выходила замуж, ей привиделся Огурчик. Она будто бы наблюдала его появление в дверях дворца бракосочетания, когда с мужем под ручку покидала это низкорослое белое строение, похожее скорее на коровник с витриной. Она чувствовала себя белой коровой. На входе их осыпали зерном и монетками. Тут-то показалось ей, что мель-

кнули знакомые очки, знакомое лицо. Анечка вздрогнула, стала перебирать взглядом гостей. Ей показалось, она видит знакомую спину, милую шею – захотелось броситься, растолкать всех... Жених, почувствовав легкое движение, ухватил ее за локоток. Она быстро взяла себя в руки, улыбнулась и пошла дальше. За столом кафе, где гуляла свадьба, Анечка сидела как на поминках. Жених подливал ей вина и нервничал. Родители переглядывались.

В это кафе они с Огурчиком однажды зашли.

* * *

В тот давнишний день набрякшие окна, распухшие двери города и всеобщая тополияная тоска охвачены были новым снегом, хотя, казалось, снега больше не будет, все-таки апрель.

День сразу не задался. Огурчика вызывали в деканат, на встречу с кем-то из горкома, и вызвали строго. Вся группа и доцент Зебра, с чьей пары его как раз и забрали, переживали, предвидя неприятности. Учебный процесс не клеился. Хотя Огурчик показывал себя взрослее многих, ему все же едва стукнуло девятнадцать, возраст был нежный, нервный.

Но он вернулся с таким же спокойным видом, с каким уходил. По такому-то лицу не прочитаешь ничего – всегда ровное, доброе. Но очки почему-то запотели, словно с мороза зашел в помещение. И Галка запричитала Анечке на ухо: «Это нехорошо, нехорошо...» Зебра спросил:

— Ну?..

— Все в порядке.

И больше ничего не сказал. И сел на место. Зебра отошел к окну, сложил руки в карманы и так долго стоял. Внимание аудитории переключилось на доцента.

— Петрович? – осторожно обратился к Зебре с самой дальней парты тридцатилетний строитель Саня, бедовый, учившийся мало, зато друживший крепко, с Галкой так они и вовсе теперь ждали первенца.

Зебра отлепил взгляд от окна и сказал своим скрипучим голосом:

— История еще нас догонит.

И распустил аудиторию. Аудитория еще посидела молча, озадаченная словами Зебры и тем, что пара так рано закончилась. А потом разошлась. Огурчика ни о чем больше не спросили. Но все будто бы немного обиделись, обиделись коллективно – за то, что Огурчик, за которого они так переживали, не поддержал их волнения и беспокойства, ничего не рассказал, не поделился.

Анечка на минутку обиделась вместе со всеми и даже решила пойти в другую сторону, не догонять сегодня Огурчика. Она крутилась у зеркала, прилаживала берет, застегивала пальтишко, воинственно напевала под нос. Но когда увидела в зеркале, что он открывает тяжелую дверь и уходит, заторопилась. И кинулась вслед — сначала шла за ним на расстоянии, как шпион, а потом догнала на полпути — как обычно, и рядом пошла — как обычно.

И они долго бродили по улицам. Любопытство мучило ее, но Огурчик молчал. Вдруг она заметила, что в его лице словно ожил какой-то нерв, менявший общее безмятежное выражение. Он в смятении, поняла Анечка. И тут в ней неожиданно зашевелились подлые чертята. Почувствовав его слабость, она захотела отомстить ему именно сейчас, в ту минуту, когда он был особенно уязвим — отомстить за то, что он не томился по ней, за то, что молчал. Пошел снег.

Он сказал, кивнув на вывеску «Снежинка», мимо которой они проходили уже в третий раз:

— Зайдем?

Зашли, уселись за столик в пустом кафе. Молчание угнетало Анечку. Она чувствовала себя, как в пустом заводском цеху, где, брошенные людьми, замерли суровые агрегаты, бездушные и беспомощные. Анечка убирала стружку, мусор, и ей было жаль эти машины, которые всецело зависят от человеческого произвола, которые только должны и должны, а потом – забыты, а потом – никому не нужны. Анечка чувствовала себя такой машиной.

Она совсем рассердилась и решила, что раз так, то бегать за Огурчиком не собирается. У нее и так ухаже-ров предостаточно. Под окно к ней приходил Николай из литейного и соловьем заливался. И еще один парень на курс старше провожал ее, начинающий писатель. Поцеловал вчера возле той самой краснокирпичной школы.

— Мне пора. Далеко ехать.

Она решительно встала, быстро застегнула пальто, схватила сумку, зацокала к выходу. Огурчик поплелся за ней.

...На улице нежным серпантинном закручивается снег. Он залепляет очки Огурчику. Огурчик снимает их, сует в карман. Лицо его беззащитно. Анечке кажется, что он вот-вот расплчется. Он как будто тянется к ней. Но она безжалостно говорит «до завтра», прорывает ленты снега, которые свиваются вокруг нее, хотят связать ее волю, и уходит в невидимость. Ей хочется оглянуться, но чертята не дают. Ей кажется, что у него, стоящего под апрельским снегом, дрожат губы...

...И вот она сидит на своей свадьбе, может быть, на

том же самом стуле, на котором сидела тогда. И чудится ей всякая ерунда. Всякая ерунда чудится! Анечка вскочила, нацепила фату, которую сняла минутой раньше потому, что заколка царапала ей голову, и кинулась в пляс. Гости и жених довольны.

* * *

— Зебру вышибли из университета через два года — он стал приходиться на лекции пьяным. Галка с Сашей оканчивать не стали, родили своего младенца и уехали в Молдавию, «на яблоки». Огурчик защитился на отлично. Я по-прежнему ходила за ним тенью, он привык ко мне и не отличал, кажется, от своего шарфа или сумки. Или не хотел отличать. После того случая в кафе на первый взгляд ничего не изменилось, но я чувствовала, что изменилось абсолютно все. Было ли мне обидно? Да. Обидно и больно. Закончив университет, он скоро женился, как будто бы удачно, на дочке важного чиновника, и у него родились девочки-близнецы... А перед выпускным состоялся у нас с ним один разговор. Он сказал, впервые посмотрев на меня робко, как раньше, что не может быть тем, кто есть, и очень сожалеет, и что ему нужно держаться. Я ничего не поняла, но обняла его, поцеловала в шею — он был высок, до губ я просто не дотянулась. И убежала. Меня захлестнула тогда обида, я понимала, что он прощается со мной. И мы правда больше не виделись.

Анна Николаевна подперла щеку рукой и замолчала. В учительской жужжал вентилятор, гоняя сухой воздух. Ветка липы стремилась закинуть в форточку свои цветы. Они распространяли болезненный запах, запах несбывшегося, запах прошлого. Скоро дадут звонок, дети убегут домой, день заострится, пойдет на убыль,

как идут на убыль старики. Как идет на убыль и сама Анна Николаевна. Ее скоро придется заменить на более молодого учителя, ничего не поделаешь...

— Но вы хотя бы знаете, как сложилась его жизнь?

Она улыбнулась.

— Вы не поверите. Он сошел с ума.

* * *

Огурчик сошел с ума не сразу.

Его карьера задалась, и скоро он служил главным редактором областного издательства. Ему удавалось еще вести научную деятельность и читать лекции в университете. Дочери росли, жена не мешала, занималась своими делами, на глазах тучнела. Сам он не менялся – молчаливый красавец, эрудит, молодой еще человек. У него случались любовницы, одной из них была Анечкина подружка Леля, поступившая младшим редактором в то же издательство. Анечка к тому времени вышла замуж, уехала с мужем-военным в какую-то далекую-предалекую часть — и Леля с удовольствием окунулась в острое приключение.

Огурчик (Леля звала его так и в глаза и за глаза) мало изменился со студенческих времен. Но сейчас, заматеревший, он нравился ей куда больше. Леля смотрела, как он одевается, чтобы идти домой, как напрягается его тело, как открывается славная улыбка, обнажающая ровные зубы. Идеальный мужчина, Бельмондо отдыхает.

«Но что-то в тебе должно быть не так», — всякий раз думала Леля, провожая его домой. От этой мысли становилось неуютно. Она потуже затягивала поясок на халатике. Ему, конечно, не говорила ничего, только трепала непослушный вихор – он не стригся теперь так

коротко, как в студенчестве, и волосы шли волнами. Потом целовала в шею, не доставая до губ.

Бывало, он оставался у нее на ночь, редко, но бывало. И тогда рассказывал ей истории, то ли сочиненные им самим, то ли вычитанные где-то: о каком-то саде, о людях, сгинувших в сталинских лагерях, или убравшихся с глаз по доброй воле, или о тех, кто остался и терпел лишения. Это были истории любви, разбитых или исполнившихся надежд.

— Тебе бы книжки писать, Огурчик. Авантюрные романы, – смеялась Леля.

— Это ж не книги, дорогая моя, это жизнь. Которую в книги не спрячешь, — посмеивался он, перебирал ее волосы. И смотрел так, что Леле хотелось исчезнуть, хоть под кровать залезть. Взгляд его был пустым.

— И обо мне историю сочинишь?

— Уже... — дежурно отвечал Огурчик и обхватывал Лелю крупными руками.

Однажды он спросил, почему она называет его Огурчиком. Леля сказала безотчетно:

— Анечку помнишь? Она всегда тебя так называла.

Он, показалось Леле, будто бы сразу погас, притих. Спросил, как Анна. Но выслушав короткий Лелин ответ об Анечкином замужестве и отъезде, уточняющих вопросов не задавал. Больше они об этом не вспоминали.

Как-то в сентябре по издательству поползли слухи о том, что шеф спятил. Перед тем, в один прекрасный день, за Лелей прибежала секретарша Марина. Она была в курсе событий, к которым в первую очередь причисляла служебные романы, происходившие на всех пяти этажах издательства. Марина трясла крупными серьгами. А волосы ее, всегда гладко лежащие, будто приклеенные, теперь приподнялись от волнения, как

шерсть на собачьей холке, и даже немного растрепались. Не парик, — усмехнулась Леля, а то ходили такие насмешливые слухи.

Марина доложила: Владимир Алексеевич кинул стакан в бильд-редактора, зашедшего к нему в кабинет; ну ладно бы пострадал только бильд-редактор — он выпивает, и шеф мог на него сорваться; но затем была Оля, которую послал Иван Иваныч из типографского цеха, и ни в чем не виноватая Оля была попросту оплевана натуральной слюною; а потом была и сама Марина — понесла бумаги на подпись, и вот результат!

— Документы выбросил в окно, а меня, представляешь, выгнал!

Леля попросила Марину никому ничего не говорить. И ворвалась к Огурчику.

Марина подслушивала за дверью. Но в кабинете говорили тихо. Она услышала только: шеф плачет...

После того, как поползли слухи, Огурчик продержался еще около года. На его выходки и срывы закрывали глаза. Закрывали бы и дальше. Но как-то утром он не пришел на работу — и больше никогда не приходил.

Леля не искала с ним встреч. Мужчина, конечно, интересный, но у нее и своих проблем достаточно. Как-то они сошлись на нейтральной территории, в замурзанной привокзальной кафешке, чтобы объясниться. Ясные глаза Огурчика словно затянулись грустной пленочкой. «Я не тот, за кого меня принимают!» — жарко сказал Огурчик и что-то забормотал в несвойственной ему беспокойной, почти суетливой манере. И Леля поняла, что — всё. Хоть он к этому времени ушел из семьи и мог бы теперь оставаться с ней, Леля поняла — всё. Она не предложила ему переехать, а он и не присился.

Они вместе сели в трамвай, а вышли на разных остановках, он — до моста, она — после. Больше Леля никогда его не встречала.

— Было ли ей больно с ним расставаться? Не знаю. Наверное. Он ведь был необыкновенный.

* * *

— Через много лет я вернулась в город и увиделась с Лелей, она призналась мне в их связи, но так и не сказала, любила ли его. Хотя я спрашивала, конечно. Даже накричала на нее, бедную.

...И они поплакали тогда, каждая о своем. Анечка — о том, что ее собственный роман так и остался не прочитан...

— Быть бы мне чуть умнее или добрее тогда, в кафе. Впрочем, вряд ли это что-то изменило бы. Хотя как знать.

Покачав головой, Анна Николаевна надела старушечью беретку, повязала платок, взялась за пальто. Осмотрела его, отряхнула — и все так спокойно, будто бы рассказывала о чем-то постороннем. Хотя дела минувших дней разве не кажутся нам посторонними, словно и не с нами бывшими? Мы непоправимо меняемся за ничтожный срок, а тут — целая жизнь прошла...

— Но вы уверены, что он сошел с ума? — мы двигались по коридору, похожему на трубу — без окон, впереди свет и позади свет. Дети ушли, висела мучительная тишина, которую обычно разбивала уборщица, шлепая мокрой тряпкой об пол. Но и ее сейчас не слышно. В такой тишине мне вдруг показалось, что пошел дождь.

— Уверена ли я? Все говорили. Леля говорила.

Анна Николаевна остановилась.

— И Зебра однажды сказал то же самое.

* * *

Когда много лет спустя Анечка вернулась в город, она поняла, что одиночество не угнетает ее, а грядущая одинокая старость, которой со страстью и усердием пугала перед смертью мать, узнав об Анечкином разводе, представляется плодотворным временем свободы.

По крошечной квартире, которая досталась ей по материнскому последнему настоянию, по комнатам, пропахшим грубой смесью корицы и нафталина, кроме нее бродили лишь неприкаянные сквозняки. Дети Анечка не обзавелась по причинам непонятным и ей самой. Как будто боялась она упустить собственное детство, потерять замершую тихую юность, износить тончайшие чувства, которые связывали ее с миром сильным и свежим. Как будто боялась, что дети отнимут и присвоят все это.

С неделю она обустроивалась и осваивалась, бродила по заводскому городку, Здание клуба посерело, детский сад погрузился в пучину акаций, как подводная лодка в пучину моря. Школа, которую Анечка помнила теплой, охряной, приобрела цвет лимонный, грязноватый и теперь напоминала засохшую карамельку. Лестницы внутри высокие, с широкими перилами, скатываться удобно – вспомнила Анечка, и направилась было к школьному крыльцу, но на полпути передумала: вдруг кто-нибудь из старых учителей узнает ее, станет спрашивать про то, про сё, а ей рассказывать неохота.

Следовало найти какую-нибудь работу. В школу ее бы взяли, да она больше туда не хотела, измотавшись по школам военных городков — кочевала вместе с мужем. Анечка позвонила тогда Леле и, услышав в трубке шумный голос подружки, обрадовалась. А на следующий день заявила в издательство.

— Леля недавно стала главным редактором, сидела в таком шикарном кабинете! Политический ветер тогда сильно переменился, все дышали этой самой свободой, надышаться не могли. В издательстве стали выпускать много чего, всякую ерунду, вроде астрологических календарей, и я подумала, что и для меня найдется занятие.

Прихожу, а там Зебра, все такой же – маленький, живенький. И еще двое наших ребят, с курса. И все мы обрадовались встрече, мужики сбегали за вином, закуской — отметить. Говорили обо всех наших. Вспомнили Огурчика. Ребята рассказали, что приходил к ним однажды Владимир наш Огурчик, приносил рукопись. Потрясал ей и обещал этой книгой всех вывести на чистую воду, всех разоблачить. Хотел, чтобы непременно ее напечатали.

Леля тогда спросила: «Кого — всех?». А Зебра сказал: «Да голубых, целое сообщество. Он, оказывается, был нетрадиционной ориентации, скрывал это. Могли бы вы себе такое представить?». Я рот открыла. А Лелька как давай смеяться, чуть под стол не закатилась. Она потребовала эту книгу, а мужики смутились и сказали, что она в сейфе в надежном месте. Что эту книгу на свет нельзя вытаскивать. Она рассердилась и пригрозила увольнением, если не доставят ей эту самую рукопись. Вечеринка как-то сразу сошла на нет, у всех появились срочные дела, хотя был вечер пятницы. Мы с Лелей остались одни.

В тот раз мы и поговорили. Единственный раз... Рыдали обе. Я кричала, обвиняла ее – и несправедливо – в предательстве. А какое тут предательство? Жизнь просто. Леля очень скоро умерла от рака.

И вот что еще хочу сказать. После нашего с ней разговора во мне словно брешь образовалась, все холодом

в душе тянуло, все я мерзла, мерзла. О Лелином существовании хотела вовсе забыть. И вот теперь забыть не могу того, что больше не увидела ее ни разу. Не захотела прийти. Умиравшей отказала. Вот это горе – моя вина.

— Ну а эта рукопись?

— О ней я никогда больше не слышала. Что в ней на самом деле было написано, неизвестно...

* * *

На улице тренькал дождь. Мы стояли на крыльце под прозрачным козырьком, стекавшие струи образовали вокруг нас подвижную беседку.

— Вы только представьте: точно такой же дождь шел и сто лет, и двести лет назад. И люди так же прятались от него, – сказала Анна Николаевна и вдруг вышагнула из-под козырька к старой мокрой липе.

Под деревом оставалось сухое место, листва его была густа. Она прислонилась спиной к стволу и смотрела, как дождь исполняет свою вечную работу. Пришлось перебежать и мне. Сегодня вечером уберут одну из двух старых лип возле школьного крыльца — она прогнила внутри, может упасть. Как мне сказать Анне Николаевне об этом?

— Сегодня срубят эту липу. Дерево может упасть на детей, – язык заплетался от волнения. Но она лишь погладила дерево сухонькой ручкой и легко сказала ему:

— Тогда прощай.

Потом запрокинула голову, некоторое время вглядывалась в листву, как будто запоминая расположение веток, листьев, их свежий цвет, влажный блеск. Открыла зонтик и медленно двинулась вдоль школьного забора по улице. И я пошла следом за ней, как на веревочке. История была еще не досказана.

— Анна Николаевна, и все же вы правда считаете, что он сошел с ума?

— Все так считают. Сами посудите: ушел от жены, работать устроился грузчиком – представьте только, грузчиком! По собственной воле, по желанию! Конечно, все считали, что Огурчик спятил. Да и нервный он, говорят, стал не в меру. Что за жизнь вел, непонятно. Правда, через него все наши доставали книги, подписные издания, Булгакова и другое – были у него какие-то хитрые знакомства, и он не отказывал. Но этим общение заканчивалось, ни в какие разговоры Огурчик не вступал.

Как-то собирались университетским курсом. И его решили найти. Нашли, пригласили. Он пришел чуть позже, когда веселье было в разгаре. Поел, выпил, молча посмотрел на всех — и ушел, ни слова не сказав! И его больше никто не видел. Кроме Зебры.

— Так и думала, что это еще не вся история!

— Да нет, почти уж вся. Он умер. Зебра видел его уже мертвым. Пришел к нему через несколько дней просить прощения — а он умер.

* * *

Зебра пришел к двухэтажной деревяшке, чьи окна, все в обломанных резных кружевах, забраны были утрюмыми решетками, сваренными из арматуры. Пришел, потому что чувствовал, как стареет его сердце, а вместе с ним стареет, напивается тяжелой водой вины и тянет на дно невыносимый более груз.

Последний раз выкрашенный синей краской, дом облупился, и все прежние красочные слои стали видны. Так же видны были Зебре сейчас все слои его жизни, и один слой был, определенно, черным.

Подниматься по лестнице невыносимо, ступени высоки, как во всех старинных домах, которые в пору квартирного дефицита разбили на крошечные квартир-ки, раздали трудящимся – на время, пока не отстроят социалистический жилой фонд. Шестьдесят лет минуло, а квартирки не перевелись, существуют квартирки.

Зебра перебирал ногами так тяжело, что великану показался бы замедленной осенней мухой. Он не замечал дранки, обнажившейся на стенах, не видел грязного стекла, торчащих повсюду проводов. А видел – как бы в своей памяти — добротный деревянный особнячок, флигель большой каменной усадьбы, на которую купцы не жалели денег. Во флигеле, надо полагать, проживала прислуга или кто-то из бедных родственников.

Добравшись до нужной двери, он встал и закурил. Дверь обита старой клеенкой, из дыр торчит пакля, круглая стеклянная ручка нечеткой штамповки, советский ширпотреб. И косяк кривой. Отметил про себя — и приложил палец к вогнутой кнопке звонка. А потом звонил и звонил. Взволнованный, звонил еще и еще. А потом надавил на дверь плечом. Она оказалась не заперта.

В ближней комнате, которая хорошо просматривалась из прихожей, на кровати лежал Огурчик.

Квартира чисто прибрана, везде старушечье хозяйство – салфеточки, фото в рамках, старомодные шторы с кисточками. Здесь, помнил Зебра, жила старушка-мать с сыном, а после нее – сын в одиночестве.

Зебра не подошел к Огурчику. Он прошел в дальнюю комнату и остановился, жадно разглядывая фотографии, наполнявшие ее.

Вот сам Огурчик, фотография из выпускного альбома, круглая, надписанная каллиграфически. Его роди-

тели в свадебных нарядах. Вот старинное семейство на даче – бледное, словно спящее изображение. Вот сад: на фоне теплицы улыбается усатый стройный человек с длинным лицом, позирует, поставив на ребро лопаты ногу в грубом сапоге. Виден каменный дом в уголке фото, на заднем плане, слева от оранжереи — флигель. Загадка ушедшего времени в том, что оно невозвратно – но одновременно и возвратимо. В меньшей степени фотографиями, в большей степени – книгами. Книга позволяет читателю вернуться, прочесть снова, уловить, уяснить – и поставить себя на беспроектное место наблюдателя, побывать, хотя бы ничего там и не меняя. Может быть, из-за того Огурчик так любил книги? Может, поэтому он, Валентин Петрович Зебринский, вечный доцент, так их любит?

Зебра, оставаясь в дальней комнате, несколько раз позвал лежащего, замер, прислушиваясь. Потом схватил одну из фотографий, стоявших на старом комод, и кинулся прочь...

— Я хорошо помню ту давнюю минуту, когда он сказал нам, студентам, эту странную, странную фразу: история нас еще догонит. И вот, после того, как он встал у меня на пороге, растерянный, со стеклянным взглядом, я поняла ее смысл. Мне для этого потребовалось тридцать лет. Представляете ли – целых тридцать лет! Я тогда только поняла, что бесследное исчезновение – это вообще байка для дураков...

Зебра встал на моем пороге и замычал. Я не сразу поняла, что он плачет. И он все рассказал, вернул меня назад. И я увидела простую картину, достойную всех фламандских кистей сразу – интерьер эпохи, внутренним своим светом освещаемый до мелочей: это наша, одна на всех, жизнь. Поколения сменяют друг друга,

но ее испепеляющий ветер – один на всех. То, что было вчера, повторится завтра. Я это вы.

Оказалось, Зебра «стучал». Он был хорошим парнем, но «стучал». Тогда многие «стучали», ничего, в общем, особенного. Но Огурчика он любил, восхищался им. Как это восхищение перешло в зависть, а потом и в ненависть, понять и передать трудно. Думаю, Зебра чувствовал себя сиротой — хотя сиротой скорее можно было назвать Огурчика, его отец, отпрыск богатой купеческой семьи, рано умер, при обстоятельствах, о которых тогда предпочитали не распространяться.

К тому времени, как их отношения преобразились под влиянием предательства, Зебра знал о нём все. О его терзаниях, о том, что он не чувствует себя своим среди нас. О том, что голос истории уверяет его – победивший не всегда прав, а понятие справедливости — это подарок дьявола, настолько же бесполезный, насколько и опасный. Зебра бывал у него дома, видел вещи, которые семья смогла сохранить. Разную ерунду и фотографии, за которые и рубля никто не даст, но ценные как раз своей материальной ничтожностью. Уж кто-кто, а Зебра понимал настоящую их цену. Все, милая моя, имеет не только денежную стоимость, но и настоящую... Об этом – о нашем времени, о его людях – думаю, он и написал эту свою книгу. Поэтому-то Зебра и спрятал ее, где-то похоронил, распространив для убедительности гадкие слухи. Такая вот история.

* * *

Дождь утих. Мы закрыли зонты. Анна Николаевна, легкая, как одуванчиковое семечко, летела вдоль Подгорной улицы, мимо старых ее доживающих деревьяшек. На них – по-прежнему наличники, теперь подправлен-

ные. Решетки сняты, вставлены пластиковые мертвые окна. Наверху, на горе, омытый будто бы не дождем, а ее воспоминаниями, сверкал парк – старое кладбище, окончательно опустевшее: лося в девяностые съели, колесо увезли. Мы остановились у лестницы, размолотой временем в бетонную крупу. Анна Николаевна светло смотрела на куполок Входа-Иерусалимской. Казалось, ничто не способно смутить ей сердца, затянуть мечтательную ясность уже бесцветных старческих глаз.

Под ухом взревел автобус, увозивший кого-то восwoяси. Анна Николаевна встрепелулась. Здесь, возле лестницы, наши пути расходились. Во мне по этому поводу прыгало какое-то детское беспокойство: она уйдет, и я больше ничего не узнаю, это же неправильно...

— И все-таки, как вы сами считаете: он сошел с ума? – в третий раз я спросила ее все о том же и всё теми же словами. Что позволило мне надеяться на другой ответ? Да ничего.

Но Анна Николаевна вдруг усмехнулась:

— Девочка, не могу же я считать человека сумасшедшим только потому, что он не смог меня полюбить! Да он был самым адекватным из нас, из тех, которые и знать ничего о себе не хотели. Но только он измучился. Один потомок остался от такой семьи, жил за всех. А какой необыкновенный! Сейчас... Где-то у меня тут был подарок, от Зебры...

Она достала из сумки большущую записную книжку с резинкой, раздутую до невероятных размеров, извлекла из нее фотографию — овал старого выпускного фото: красивый юноша со светлыми глазами и хорошей посадкой головы. По краешку овала надпись: Владимир Ландышев. А на обороте дисциплинированным учительским почерком: Огурчик.



Открытое Море

ПОВЕСТЬ

Полдень затерялся в холодном ржавом лабиринте, аукал, стучал — мол, найдите. Но его никто не искал, и воздух полдня темнел, сгущался над горами испорченного железа. Вода под ним наливалась первобытной злостью. На горе загудел лес, бока мертвых теплоходов тоже загудели, будто пьяные затянули неразборчивый мотив. Озеро, распространившись вдаль без конца и края, угрюмо зашелестело, подпевая.

Дождь, взявшийся неизвестно откуда, — то ли рухнул с неба, то ли поднялся из воды — быстро отрезвил всех и убрался восвояси. Полдень прекратил свою игру и выкатился белым осенним солнцем, осветив железные костяки, помытый лес и бродячие дымы. Вода, затаив страшные песни, открылась теперь своей обычной глубиной: внизу обманчиво близко зеленели утопленные велосипеды, покрышки, но то была бездна, и все знали, что уже в ста метрах от берега терялось всякое понятие дна. От бездны к берегу бежала испуганная лодка.

Она врезалась в песок, когда природа уже успокоилась, в знак примирения вывесив радужный флаг. На лодку уставились сбежавшиеся к воде черные домишки, блестящие масляными глазами. От крайнего стремился в сторону лодки человек и энергично потрясал над головою обеими руками. Еще несколько шли с другой стороны, двое спускались с улицы, которая, петляя, поднималась в гору.

Моторка выплюнула на берег двух мокрых мальчишек. Они торчали угрюмыми беззащитными стебелька-

ми. Бегущий человек — крепкий старик, обнаруживший, стоило ему сбавить шаг, значительную хромоту, — приблизившись, залепил обоим хорошие подзатыльники и сильно ругнулся. Все трое побрели к дому: старик впереди, мальчишки виновато отстали.

Остальные мужчины, втащив лодку поглубже на берег, постояли, покурили возле да и разошлись по домам.

* * *

— Заново родились, — нервно ухмылялся пожилой рыбинспектор Миша, имея в виду снисходительность природы, которая не забуянила, как обычно, а притихла и отступила. — А то бы унесло, перевернуло.

— В городе-то одурели совсем, страх совсем потеряли, — объяснял Антон, стыдясь за внуков и перекаtywая в голове как горошинку навязчивую сильную мысль: вот так же утонул тут один знаменитый драматург, да и мало ли рыбаков ушло, а мальчишек озеро — ишь ты! — принять не захотело; а то и сама побеспокоилась...

Продрогшим, испуганным щенкам дали самогонки и отправили переодеваться. Пока они тихо возились в комнате, к Антону собирались гости — мужчины, искавшие в полдень его беспокойных ребят. Гости заходили молча. У каждого кого-нибудь да съела прожорливая вода, откупалась рыбой и не отпускала. Рыбинспектор Миша покачивался в углу, внимательно оглядывая входящих. Он знал о каждом больше, наверное, чем даже они сами, недаром до инспекции бессменно служил тут участковым. И это знание с каждым годом все тягостнее обременяло его. И он собирался на следующий год все бросить и устроиться где-нибудь далеко отсюда, под краснодарским, например, солнцем. Там, где никого не знает.

Антон замер у плиты, навис над огромным чайником, который лениво побулькивал. В окно снова забили тощие дождевые струи. Начинался ветер. Антон вытянулся к форточке. Его старый нос, похожий на дряблую картофелину, обоняет знакомое. Каждый год ветер возвращается в эти места, то рвет и мечет, то ласкает и голубит. Бегаёт по воде, треплет сосновые вихры. Характер его изменчив. Однако узнать его можно по пряному запаху и особой порывистости — как будто ткачиха вытягивает долгую нить, а потом обрывает: вытянула и оборвала, вытянула и оборвала. У Антона с ним особые отношения. Именно этот ветер когда-то направил его жизнь, чуткую жизнь художника, по руслу глубокому, прямому, бесповоротно впадающему в огромное озеро.

* * *

Дом пропах рыбой. Земля вокруг дома пропахла рыбой. Горы до самых верхушечек пропахли. Когда Антон много лет назад вернулся в поселок, ему поначалу казалось, что даже хвоя у сосен, даже своенравный багульник выделяют монотонный рыбный запах. Запах несла вода, даже когда падала с неба. Обычно в непогоду нога хромая, поврежденная в раннем детстве, ныла, и привычная боль отныне тоже была связана с этим утомительным духом.

Но здесь бывали такие ночи, когда на общем черном выступали белые краешки волн. И Антон выходил на отцовской лодке вместе с рыбаками растягивать крупноячеистые сети. Их привозили женщины из Сухого Ручья, где на рыбозаводе принимали теперь чужую, морскую, рыбу, приходившую по железной дороге, так что сети заводским стали не нужны.

Но здесь бывали такие дни, когда природа слов-

но предлагала ему разделить свою власть, стать соучастником, ее любовником. Антон выходил к скалам, к текущим вдоль берега горам, которые прорезывала железная дорога, и писал, и рисовал на бумаге, и пачкал скалы невиданными орнаментами. Он исследовал голубоватые и зеленые травы, вставшие стеной вдоль полотна. Забирался на верхотуру и следил оттуда за маленьким поездом-мотаней из трех вагончиков, который сороконожкой бегал вниз, соединяя порт и крупную станцию в сотне километров. А когда солнце в ясный день весело умирало, гася свой огонек о горизонт, Антон ловил остатки света, так сладко целовавшего кладку тоннелей, что виделся ему в этом итальянский дух Возрождения. Фриулианские мастера строили их ради заработка и во имя славы человеческого духа в сибирском аду, где зимние ветра, выжирающие не только любое тепло, но даже и снег, гремели человеческими костями. Тоннели, подпорные стенки из желтоватого камня, высоченные мосты над бьющимися внизу прозрачными речушками придавали однопутной дороге вид категорически нездешний и древний.

К зиме устанавливалось прекрасное время опустошения, которое прокрадывалось к мольберту и воспроизводило болезненные тонкие изображения — кто еще мог водить человеческой рукой? Скалы и стенки, едва припорошенные снегом, загадочно темнели на фоне общей белизны. Кто заманил его, тридцатилетнего, полного амбиций, сюда, где жизнь и смерть очевиднее и так просто жить и еще проще умереть? Отцовский дом надо было принять в наследство. Антон приехал, принял, да так и заблудился в трех его комнатах, будто в лабиринте. Заблудился в здешней неподотчетной разуму красоте — да так и остался. Отец обосновался рядом, на поселковом

кладбище. Вокруг же все обьяла кошмарно прозрачная вода — единственное, к чему он никак не мог привыкнуть. Бездна должна быть невидима.

* * *

И первоначальное желание бежать, укрыться в суетливом теплом городском быту, попробовать вернуться к рисованию в привычной обстановке города — провинциального, старого, заросшего — прошло быстро.

Два первых года минули незаметно. Антону казалось, что кругом изменялся лишь цвет, в особенности цвет воды. Он без усталости писал и делал наброски, облазил каждый угол, обшарил окрестную тайгу, часами торчал среди ржавых кораблей. Его занимали незнакомые, случайные ощущения, скорее даже отголоски ощущений, обнаружившие вдруг свою необычайную силу. Это были ощущения на стыке волнующих отношений своевольной природы и своевольного человека.

Он бывал наездами в городе, где когда-то учился живописи, в городе, который много рисовал. Но больше не мог отыскать там той горечи, которая раньше давала силу: действительность становилась наряднее, меняя память на яркость. Старину списывали на дрова, освобождая место уродливым конструкциям, растающим на экономическом расчете. Выгода и целесообразность торчали стекловатой отовсюду, выставлены были в витринах.

Он задавался вопросом: зачем его вообще потянуло в этот город — в мучительное место, где он родился, где распалось, сгнило тело их семейства? Ссоры, попреки, чуждость — вот что помнил он отсюда. Мог бы учиться в другом городе, побольше, где выросла его мать и где

она обосновалась после развода — и где, таким образом, завершилось и его собственное детство. Но нет.

Он вспоминал, что мать пролила ведро слез, отпуская его обратно «в эту глушь», как она говорила о том городе, куда приехала от родителей в юности и где училась и где вышла замуж — по любви. Только ничто у нее здесь не сложилось — ни работа, ни семейная жизнь. Поэтому-то провинциальный, хотя не такой уж маленький город Антонова детства был для нее настоящей глушью.

Не в пустоту однако ж отпускала: рядом с цивилизованной глушью, немного более отдаленно, в прибрежном поселке на другом берегу озера, за сотню километров, обитал холостяком отец Антона — после развода он уехал к родителям, в сердцах бросив городскую квартиру пустой. Даже жильцов не стал искать. Ее-то и занял Антон, оказавшийся между отцовской туманной отдаленностью и материнской светлой явью. Балансировал, изучал явления света и тени, проникал в глубины искусства. И все больше замечал, что собственные его пристрастия склоняются не к материнской яви, а скорее к отцовской глуши. Студентом Антон часто навещал отца, который вдруг начал болеть, и болезнь разгоралась. Умерли бабка, дед. Отец стоял на том же пороге. К Антону приходило волнующее неясное чувство: здесь, среди стоической природы, освобождается место для него. Он отмахивался, к тому же ум подсказывал: каким же надо быть дураком, чтобы похоронить себя заживо в такой-то дыре, до которой и добраться — морока.

Он окончил училище, много писал. Его работы ездили по молодежным выставкам, можно было бы подумать уже и о персональной. Можно было бы поду-

мать уже и о себе. Но после каждого успеха на него, что называется, накатывало. Он делался нелюдим, бродил по сохранившимся в прелестной убогости городским кварталам. Глели кедр и мореная лиственница, пели скрипучие песни двери и ставни, украшенные черными резными цветами, осыпáлся на фундаментах песчаник. Антон выходил к набережной и глядел на острова, на реку, легко несущую свое прозрачное тело подальше от озера, в котором она брала свое начало. Река убегала оттуда, куда его по неизвестной причине тянуло.

Он выполнял обязанности жизни, завел женщину. Хотя часто мнил себя неподвижным по отношению к быстротекущему времени. Но — не вечным, а будто мертвым. Когда отец лежал в гробу, Антон представил себя на его месте и счел, что это в некоторой степени было бы даже удобным. А после похорон закрыл дом и с удовольствием опустил ключ в карман.

На пароме, который перевозил его из поселка на другой берег — откуда он автобусом должен был переправиться в город, — Антон курил одну сигарету за другой, тушил окурки о подошву и засовывал в карман. В автобусе, везшем его по узкой гладкой дороге, он уснул и видел плоские безнадежные картины: степь и вода.

Так и продолжалось. Он никак не мог сообразить, где рождается ощущение бессилия, ядовитая безнадежность. Отчего она появляется, когда он откидывает одеяло и садится на кровати, чтобы разглядывать женщину, спящую рядом. Женщина поворачивала к нему сонное лицо, протягивала горячие руки. Антон злился и уезжал в поселок. Сначала, терзаясь, сходил с автобуса, который тормозил возле самого берега. Потом, в отцовом поселке, сходил с парома, волоча безнадежность как тяжелый груз, тянул ее по улице, втаскивал во двор,

пускал в дом. Ночью она забиралась в его подушку, внушала грязно-зеленые тоскливые сны. Он ничего не мог делать.

Тогда он запрыгивал в бывшую отцову лодку и отходил от берега. Бывало, качался так часами, рассматривал бездну, силясь увидеть в ее зеленом горле что-нибудь кроме нее самой. Сосредоточенность обычно помогала. Но бывало, безнадега не отвязывалась, а переходила в необъяснимую тревогу. И тогда он метался по соседским домам, где-нибудь напивался, бродил, беспокоил дворовых собак. Казалось, сумасшествие настигает его.

На третий год Антон, измучившись, решил насовсем порвать с городом. И первым делом расстался с женщиной — без жалости, без угрызений, с единственным желанием завершить ничтожные отношения. Зачем он вообще вступил в них? Она не будила в нем ничего, даже и страсть иссякла будто бы в первую ночь. Даже и чувство опасности (она была женой видного чиновника, Антон подцепил ее в музее на выставке) не подстегивало интереса.

И когда женщина после его резких слов плюнула ему в лицо, вдруг полегчало. Порывом ветра распахнуло балконную дверь, разнесло занавески. И в комнату вступил острый и влажный ветер, тот самый, головокружительно пахнувший чем-то далеким, а еще пряным, и такой славный, и теплый, и резкий. Ветер волчком закружился по комнате, все зашевелилось, заиграла блестками шаль, накинутая на женские покатые плечи. Антона этим ветром вынесло из квартиры, из города, занесло на паром. И вынесло с парома. Он стоял на берегу озера и был наконец почти счастлив. Он ощущал себя на своем месте. Всякие сомнения покинули его.

* * *

В этом жизнелюбивом порыве он бросил писать. Просто перестал, ни в чем себя не укоряя. Спрятал принадлежности в стайке, свободной от живности; там давненько лежали дрова и хлам, хозяйственные обломки, а теперь вот торчал диковинным животным мольберт.

Антон наблюдал.

В поселке рокотала жизнь. Сушили, чинили сети. Коптили рыбу. Женщины везли с Большой земли обновы и примеряли всем поселком. На пристани гудели суда, на станции свистел паровозик-мотаня. Машины рассказывали друг другу железные истории. Мужчины звенели инструментом. От полноты чувств мычали коровы. Все шло своим чередом.

Он наблюдал.

На берег выбрасывало коряги и кости. Они будто ждали, что их кто-то подберет, лежали словно бы для кого-то — а на самом деле просто существовали на своем месте.

Он наблюдал.

Вода в сентябре начала мерзнуть, покрывалась мелкой рябью. Качала желтые листочки, будто бы всплывшую чешую чудовища, что погибло в бездне.

Он наблюдал. А озеро следило за ним. Казалось, в нем оно изучает другую глубину, другую бездну. Равновеликие — озеро и человек — стояли друг напротив друга, дышали.

И это была странная и волнующая жизнь. Антон занял освободившуюся вакансию.

* * *

Как-то вечером пришел сосед Серега кланчить си-

гареты, на завтра позвал на рыбалку, третьим. Антон обрадовался и выдал целую пачку.

Под утро собрал провизию в непромокаемый мешок, наново заштопал прореху на старом отцовском плаще — каждый раз штопал, как собирался выходить с рыбаками в море: плащ от старости не держал посторонних ниток. Снастей не доставал, хватит соседских; рыбой он только угощался, на продажу не брал. Его отношения со стихией сводились к обоюдному созерцанию: она тарасила на него зеленый глаз, а он свешивался за борт и, рискуя упасть, тарасился на нее.

Потустороннее свечение, которым начинался в этих местах каждый обыкновенный день, распространялось из-за гор. Моторка шла еще в темноте. Еще оставались звезды, которые постепенно сглатывал надвигающийся прожорливый свет.

Выйдя на место, суденышко остановилось, вяло порыкивая. Лодки похожи на домашних псов, которые знают свои обязанности и без напоминания гонят вечером корову или берут на испуг чужака. Антон с удовольствием писал и собак, и лодки.

Вдалеке в темноте, как бы внизу, образовалась белая точка. Потом пришел звук. К ним двигался теплоход. Хозяин лодки, молоденький участковый Миша, человек здешнего сурового характера, потянувшийся было за сетями, разогнулся, сплюнул. Стали ждать.

— Далеко пройдет. Хотя не вовремя че-то... — бурчал Серега, осердясь на явление, ибо по складу характера он не любил неожиданностей.

Антон сидел, опершись ладонями о край суденышка, и пытался уловить, понять световой объем. Свет заходил в воду, и она где-то прогибалась под его тяжестью, а где-то впускала без затруднения, замирая стеклянным

слитком. Слитки, казалось, можно брать и выносить из воды, и они будут жить сами по себе.

Теплоход прошел далеко, от него докатились лишь слабые волны, не потревожившие рыбаков.

Вдруг задержалась лодка, заходила ходуном. В днище стукнуло. Люди замерли, оглядывая взволнованную воду. Суеверный Серега забормотал. Что-то блеснуло, неопределенное, но как будто и узнаваемое. Солнце послало ему навстречу долгий луч. И в этом луче Антон увидел раскинутые руки и крупную чешую, причудливо преломляющую зеленый свет, идущий из глубины навстречу солнечному. Вода забеспокоилась, зашевелилась, забурлила, и вот уже в пене над зеленым провалом шевелились руки, волосы, чешуя.

— Русалка! — заорал Миша, разум которого отказывался давать оценку происходящему.

Забыв о всякой безопасности, он резко перекинулся на Антонов борт, и лодку накренило.

— Баба! — заорал Серега, разглядев в воде признаки человеческого и женского, и, отбросив Мишу к другому борту, в момент скинул телогрейку и опустил в воду свои волосатые загребущие длани.

Антон не шелохнулся. В явлении прекрасного под лучами верхнего и нижнего солнц он словно увидел знак, которого давно ждал. Нижнее солнце, чьи изумрудные лучи вышли к поверхности, обнаружило в толще воды существо, которое вдруг соединило Антона и пугающую стихию бездонного огромного озера, называемого здешними жителями морем.

— Держи! — рявкнул Серега.

Антон отмер, автоматически выбросил руки навстречу тому, что приподнял из воды товарищ. Схватил, почувствовал, что пальцы скользят, но вот схватил

за несколькокое, узкое. Ладонь облепили мокрые темные волосы. Пока заволакивали существо через высокие борта, взгляд Антона был прикован к мокрым прядям, покрывшим его руку причудливой татуировкой.

В лодке оказалась женщина. Втроем они растерянно смотрели на нее. Переливалась кофточка на груди. Женщина дышала, но не открывала глаз.

— Откудова взялась? — выдохнул Миша.

Пойманное было красиво даже и в таком мокром виде.

Сереге рванул мотор, они устремились к берегу.

* * *

Женщину понесли в больничку. Фельдшерицы на месте не оказалось, Сереге побегал к ней домой. Миша поскакал переодеться в чистое — и на службу, разбираться в происшествии. Антон остался на крыльце с русалкой на руках. Внутри него наступила глубоководная тишина. Точно внутри он сам стал этой беспощадной заманчивой водой. Именно она баюкала и рассматривала улов: темные длинные волосы, резкие скулы, маленькая грудь, узкие колени, длинные изящные ступни. Не очень, надо полагать, высока. Лет тридцать. Она открыла глаза и так, с открытыми глазами, лежала у него на руках, глядела на него снизу желтоватыми осенними земными глазами. Он смотрел на нее сверху водяными сердитыми серо-голубыми. Мир перевернулся.

Пришла, подгоняемая Серегой, фельдшер Раечка, которую за маленькую злую голову и длинное змеистое тело звали Ящерицей. Раечка не любила женщин ревнивой нелюбовью. В ранней юности хотела она поступать в театральное училище на артистку, уехала в город. Но не хватило у нее то ли таланта, то ли духу — оказалась

в медицинском. С тех пор она рассказывала истории, как обставили ее, простодушную, городские девушки, хитростью пробрались на ее место. Хотя все знали: Раечка просто испугалась и на вступительные испытания не пошла. Об этом поведала всему миру ее мать, портовский фельдшер, которая устроила дочку, чтобы год не пропадал, в медицинское, к своей подруге. Сама же Ящерица свято верила в обиду, и та с годами крепла, охватывала все больше Раечкиного пространства. Так что, издали оценивая пациентку, разлегшуюся на крыльце, да еще и в мужских интересных руках, Раечка недобро прищурилась.

Нависнув, она увидела тонкое лицо и светло-карие, даже желтоватые, пугающие круглые глаза. Отшатнулась.

— Вот, рыбу принесли, — пошутил Серега, забирая женщину из Антоновых рук.

Ее внесли и устроили на кушетке, Раечка выгнала мужчин, раздела «рыбу», укутала в одеяла. Та ничего не говорила, не пыталась сесть, просто лежала и водила зенками туда-сюда. Антон уселся на стуле в соседней комнате и прислушивался. Серега пошел домой рассказать жене о столь удивительном случае.

Потом Антону надоело сидеть на стуле, и он вышел и бродил вокруг фельдшерского пункта, косясь на открытое окно, откуда вылезла и колыхалась от сквозняка белая тюлевая штора, а в глубине окна колыхался Раечкин звонкий голос, из-за которого она, собственно, и собиралась в артистки. Прискакал наконец Миша. Глаз у него профессионально горел.

— Чего бродим? — высокомерно сказал Миша, повысив голос чуть не до фальцета.

Он приоделся, напялил форму.

Миша отправил Антона домой, но пообещал вечером зайти и рассказать, что к чему. А сам поправил фуражку и — очень уж был взволнован происшествием — бегом ринулся исполнять милицейскую службу.

* * *

В фельдшерском пункте успокаивающе пахло лекарствами. Раечка сидела за столом, не сводя глаз с пациентки. Она вдруг неожиданно для самой себя смягчилась, червячок симпатии зашевелился в ее сердечке. Пациентка, упакованная в одеяла как новорожденный, лежала и смотрела. Она смотрела внимательно, будто потерялась и оценивает, по какой дороге ей пойти. Обводила взглядом стены, окно, разглядывала потолок. Раечки словно и не существовало рядом. Раечка говорила — а женщина не говорила ничего в ответ. «Малахольная» — с нежностью определила фельдшерица. Она осмотрела ее вещи: трикотажная кофточка с крупной блестящей нитью, дорогая с виду, синяя тонкая юбка — материал хороший, да и сшито, судя по швам, в ателье, не магазинская продукция. В нарядах Раечка разбиралась — как несостоявшаяся артистка. И, пожалуй, лучше, чем в медицине.

Миша заявился и приступил к своим обязанностям, по мнению Раечки, слишком сразу, с наскоку. И она осадила:

— У человека шок, а ты напрыгиваешь! Чего напрыгиваешь? Я тебе, как медицинский работник, напрыгивать запрещаю! Осторожно спрашивай.

Ей самой было жутко любопытно: достали женщину из воды далеко от берега, как она там оказалась — неизвестно. Вода в сентябре ледяная, а она ничего, не дрожит даже.

Миша задавал вопросы. Но спасенная молчала и вскоре под равномерно-отрывистую музыку Мишиного взволнованного голоса убаюкалась и заснула.

— Теплоход перед нами прошел. Наверное, оттуда и прыгнула, — подытожил шепотом Миша.

Он был молод и оттого на выводы скор. И отправился в порт навести справки о теплоходе.

Раиса тогда уселась перед спящей и стала оглядывать ее. Все вроде обыкновенное, как у людей: две руки, две ноги и так далее. А присмотришься — что-то не то.

* * *

Весть о русалке распространилась в поселке со скоростью света.

— Раньше все рыбаки в устьях рек ловили, когда рыба шла руном, на нерест. А потом, поди ж ты, все песком засыпало, и стал народ в море двигать. А в море — фараоны, примерно как люди, только ступни срослись в рыбий хвост. Интересно! Шаловливый народец: качали одну лодку, качали да и перевернули. Мужики, кто до берега доплыл, собрали народ и устроили тогда фараонам наказание: наловили неводом — а они-то мелковаты супротив человека — да и выпороли, как малых детей, чтобы неповадно было. А потом обратно в море повыбросили. Те больше и не показывались, ушли в другое место... В наши места, говорят, как раз и ушли...

Уже к обеду это рассказывал, стоя перед прилавком сельпо, дед Терентий. Очередь слушала. Наконец продавщица Татьяна, у которой по огромному телу побежали от дедовой повести пропорционально огромные мурашки, не выдержала:

— Дед, ты же ветеран, чего сказки выдумываешь?

Иди вон жене байки рассказывай. Она, может, тебя за это приголубит.

Очередь, замороженно молчавшая, простодушно напуганная дедовскими рассказами, с облегчением засмеялась, зашумела. Подростки заржали в голос.

Но, завершив магазинные дела и выйдя на высокое крыльцо, мужчины и женщины не расходились, мусолили интересную тему, извлекая из отдаленных сундуков памяти то, что слышали когда-то, ухватили где-то и приберегли до подходящего случая.

— Море-то наше, говорят, и дна практически не имеет — трещина вместо дна. И оттуда чистейшая вода изпод земли выходит. И вот с ней-то, с этой водой, всякое и приплывает.

— В артели рыболовецкой была одна женщина, рыбачка. Фору мужикам давала. А уж красавица! И вот хозяин артели ее стал помогать. А она тогда ему сказала: не отстанешь — пойду жить в море. Так и сделала. Живет теперь на невероятной глубине, распоряжается ветрами. Старая история. А может, сказка.

— Да нет, это было позже. На рыбозаводе она работала, кружевницей. Но не только сети вязала, а и в море ходила. Клавдией звали.

— А я слышала, что Аграфеной.

Росказни ходили широкой волной. На них, как слепни на теплое, слетались обитатели поселка. Антон отправился хлеба купить — и застрял надолго, с необъяснимым удовольствием слушал, пока последний говорун не покинул магазинное крыльцо.

К вечеру собрались тучи. Было видно, как тело озера наливается черной кровью. Антон, придя домой, плотнее запер за собой ворота.

* * *

Вечером, как и обещал, зарулил Миша. Вслед за ним в сени шагнул холод.

— Погода сильно портится. В море теперь не вый-
дешь.

Миша налил чаю, взял из хрустящей бумажки пече-
нье. Антон рассматривал товарища, будто видел впер-
вые. Круглое Мишино лицо, ошпаренное внезапным
холодом, простодушно настолько, что если поставить
Мишу среди природы неподвижно, то это простодушие
натеку совпадет с ней, что отличить, где камень, а где
Миша или где сосна, а где Миша, будет ну совершенно
невозможно. Ссылаемый к бабке и деду каждое лето,
Антон на правах старшего обучал шкета Мишку бить
бычка-широколобку стальной вилкою, прикрученной
к палке. Пятилетний Мишка тогда сильно поранился,
воткнув вилку не в рыбку, а в собственную ногу...

— Помнишь, как мы бычков из-под камней выпуги-
вали?

— Погода, говорю, портится. Завтра никто к нам по
воде не доберется.

— А я почему-то вспомнил...

— Слушай, Антон, ты один живешь — возьми ее к
себе денька на два, а? Раиска попросила: у ней в амбу-
латории негде ночевать и все такое. А присмотреть бы
за русалкой надо, до выяснения. А мы тебе ее щас до-
ставим, у тебя переждет. В гостинице мест нету. А там
за ней приедут.

Антон открыл было рот, хотел спросить. Но ни один
вопрос не обрел формы, все разлетелось, как мелкие
дрожащие бабочки. Горло перехватило, внутри заходи-
ла встревоженная вода. Он аккуратно встал, задвинул
табурет под стол и натянул телогрейку.

— Пойдем тогда.

Мишка, не ожидавший быстрого согласия и готовый к уговорам (никто не захотел брать русалку, он обошел уже домов десять), подскочил, вылил в себя оставшийся чай, закусил печенюшкой. И они покатали на Антоновом мотоцикле в гору, к больничке, где Раиса уже вся извелась: ей надо было домой, к детям. Да и соскучилась изрядно в такой компании: пациентка так ни слова и не сказала — все спала или лежала с открытыми глазами.

Фельдшерица по-быстрому одела русалку, завернула в одеяло. И так, в одеяле, поднял ее Антон — легкая, легче, чем была, словно лишняя вода ушла из нее, — и понес в мотоцикл, усадил в коляску. Мишка еще раз рассыпался в благодарностях и припустил к дому. Его заждалась Катька, невеста.

— ...А зовут Оксаной! — прокричал на бегу, даже не поворачиваясь в Антонову сторону. Шибко торопился.

* * *

На третий день Оксана вдруг вышла из зоны безмолвия и сказала:

— Шторм какой-то бесконечный.

Антон, устроившись на пухлом диване, чинил плащ, который снова порвался.

Она сидела у окна в отцовом любимом кресле, наблюдая то за улицей, то за Антоном. Ее голос, низкий, даже слишком низкий, глуховатый, немного дрожал, вибрировал, подернут был рябью. Русалка, да и только.

— Давайте зашью.

Так просто? «Давайте зашью»?

Он отдал ей плащ, иглу, нитки. Примостился рядом на табурете и смотрел. Ее руки плавали по воздуху минуты три. Потом она вернула ему плащ.

* * *

Плащ с тех пор больше не рвался. Он и теперь, спустя многие годы, спустя десятилетия, висел на своем законном месте за входной дверью вполне целый. Никогда больше не рвался.

Антон отошел от окна, снял заверещавший чайник. Грохнул его на стол, достал кружки из навесного шкафчика. Деревянные дверцы шкафчика сохранили наивный узор — синие и розовые цветочки. Русалка однажды нарисовала их — когда он после долгого перерыва снова взялся за работу, достал заброшенные в стайку краски, натянул холст. Он писал ее, а она расписывала шкафчик.

Шкафчик, конечно, потемнел и облупился от времени. А вот цветки на нем были еще живы, краска у русалки легла плотно и выпукло, бороздками, как у настоящего живописца. Антон провел почернелым стариковским пальцем по розовому, потом по голубому. Почему-то голубой кажется теплее, чем розовый. Наверное, потому, что его собственная рука, дряблая, в синих жилах, содержит хоть и старческую, но еще теплую кровь и мозг это знает и подает такие странные сигналы, что, мол, голубое — теплее. Однако это ложь.

Миша щурил на Антона глаз внимательней, чем обычно. Он всегда знал, когда друга посещают воспоминания. Последние тридцать лет он винил себя в том, что не примотал его веревками к стулу и не заставил слушать, выслушать правду, выслушать, как на самом деле было. Потому что неизвестность — это самое ядовитое растение. И яд его не всегда горький, а зачастую сладкий, одурманивающий. В каком-то смысле это наркотик, и если сразу не прекратить, то потом не слезешь. Уж он-то в курсе. Он и сам о многом сожалеет и многое

вспоминает. И хранить их общую — но известную ему одному! — тайну больше не желает.

Антон в это время похромал к двери, снял с крючка, хоть дождь и кончился, плащ, взгромоздил на голову непромокаемую шляпу (сын из города прислал) и вышел на двор.

Вверху разливалось тяжелое серо-голубое небо. Такое же тяжелое, как в тот день, когда он впервые нарисовал ее, русалку. Странная получилась картина: вода, а в ней искрит сложное существо, гибкое, неуловимое. Эту картину он любил больше остальных, помнил до последнего мазка. И все-таки настало время, когда видеть ее больше не мог — и подарил далекому музею. Впрочем, так полотно и не забыл, до мельчайшего помнил.

Артритные пальцы плохо держали спичку, она гасла, прикурить не получалось. Раздался дождь, снова накрыл, переливался сквозь бледные солнечные лучи. Выскочил из дома Миша. Выскочил и встал перед Антоном — седой, усохший. Помолчали. Покурили. Намокли.

— Надо ребят к отцу отправить. Через недельку отправлю, — проскрипел Антон.

— Может, и сам съездишь? Сына повидашь. На пользу пойдет.

— Может, и съезжу.

Их разговоры всегда были немногословны. Старость будто украла у обоих дар речи, оставив объясняться таким скрипучим коротким языком, словно они не люди, а двери. А может быть, они просто настолько хорошо знали друг друга, что слова утратили произносимость как свойство.

— В море выйду, а потом съезжу.

Антон обошел дом, встал на приступочку и заглянул в комнату. Внуки спали.

* * *

Их отец появился на свет в конце лета. Этому предшествовала целая жизнь, тысячелетие счастья, слепившееся в один миг.

Русалка быстро встала на ноги и, хотя и сохраняла задумчивость, больше похожую, по мнению поселковых, на заторможенность, проявила изрядный интерес к деревенскому быту. Она с удовольствием хрустела сухими ветвями в буреломах, выискивая последние грибы, а потом — и снегом, пробуя лыжи, найденные Антоном в сарае. Она стала разговорчивей — охотно обсуждала картины, природу, нравы. Антон оценил ее настойчивый ум, ловкие руки. Она перешлила на него некоторую отцову одежду, соорудила из покрывала чехол на старое прожженное кресло: отец жил неаккуратным бобылем и курил в доме. Завела легкое знакомство с ближайшими соседками — задешево, а то и за спасибо перелицевала-подобрала кое-что для них, для их ребятни.

И все же ее сторонились, в особенное знакомство не вдавались, потому что ходили разные слухи, клубились суеверия — народ, умирая от любопытства, тешил себя своевольными фантазиями. Однако она этого не замечала. Ее это будто бы даже устраивало.

Ее так никто и не забрал. Никто не пришел к Антону и не сказал: отдавай мое сокровище. А раз так (он долго этого боялся — все время, пока их близость не вышла из-под контроля), то будут они жить-поживать. Она просилась остаться — он спокойным и даже строгим голосом, но с затаенным восторгом, разрешил.

Она никуда не выезжала из поселка и ничего о себе не рассказывала. А у него не было ни одного вопроса, ему вполне хватало ее присутствия. А когда, подобно грозовой туче, накатывало на него пасмурное, тревожное любопытство, он тайком доставал из шкафа ее блестящую кофточку и смотрел, как переливаются жесткие нити, как плавится под электрическим светом русалочья чешуя.

В один из таких тревожных дней зашел Миша. По-хозяйски налил чаю, залез в холодильник.

— У нее документов нет. А это, понимаешь, нарушение закона, — сказал, громко прихлебывая, осторожным, вкрадчивым голосом.

Антон молчал.

— Ты про нее хоть что-нибудь знаешь? Нет? А чего же друга не просишь помочь?

Он самодовольно вытянул ноги, преисполненный служебной значимости. Миша чувствовал сейчас свою чрезвычайную полезность, которую охотно адресовал бы человечеству в лице Антона.

— Только открой рот! — Антон сказал тихо, но как-то нехорошо.

Миша вздрогнул, подобрался. Любовь делает с людьми непонятные вещи. В этом он, несмотря на молодой возраст, убеждался не единожды — по долгу службы и по собственному горячему характеру. В другом случае и настаивать бы не стал, однако тут вожжа под хвост попала.

— Ничего особенного, конечно. Да как без документов? Один хлыщ тут приезжал...

Антон толкнул его. Миша слетел с табуретки, тут же подскочил, завязалась драка, разгоревшаяся не на шутку к тому моменту, когда русалка вошла в дом. Вошла,

обвела происходящее пристальным совиным взглядом и удалилась. Вмешиваться не стала. Посидела на крыльчке, подождала, пока закончат. Закончили быстро, смутившись ее появлением. Миша прошмыгнул мимо сидящей, по ходу извинился и, не оглядываясь, слинял со двора, хлопнув напоследок калиткой, от души хлопнув, со всей дури. Антон объявился на крыльце следом, обнял русалку и повел в дом. Все, что хотел знать, он уже знал.

* * *

Когда по утрам Антон садился на кровати, чтобы внимательней разглядеть спящую, то каждый раз находил деталь, скрытую от него до сей поры. Например, маленькие шрамики на нижней губе — как если бы она была рыбкой и дважды попадалась на крючок. Одна грудь чуть меньше другой — это ему видно как художнику, привыкшему оценивать объемы. Искривленный мизинец на правой ноге — как будто она родилась с камушком между пальцами. Его радовали эти отступления от совершенной художественной формы, эти неясности, неразгаданные приметы. На ее теле за многие утра он обнаружил довольно шрамов, не старых, но хорошо заживших. Однажды это взволновало его и вопрос помимо хозяйской воли выпал изо рта. Так у нее глаза сделались пустыми, какими-то безответными. От этого Антон мучился пару дней. Вопросов больше не задавал. Но хотел уже пойти к Мише — пусть расскажет. Потом струхнул. И решил излечиться работой — взялся писать ее снова, теперь как женщину со шрамами, воплощение боли и желания. Бесстрашная, желтоглазая, она раскинулась в кресле, выставив кверху живот, похожий на могильный холмик.

* * *

Однажды в мае Миша вдруг привел тонкого мужчину, глаза которого едва светились между тяжелыми веками. Если не присматриваться, то они могли показаться закрытыми. Антон пустил незваных гостей во двор, где на тонкого напали щенки: принесла Антонова лайка, крепко сидевшая на привязи из-за вздорного характера. Мамаша лаяла хрипло со своего места, щенки тявкали, подкатываясь, создавая хаос. Миша старался не глядеть на Антона, который молча уселся на косой чурбачок.

Вышла на крыльцо Оксана. Мужчина сделал к ней движение. Но она обратилась к Мише, сказала глухим голосом, от которого Мишу всего пробирало холодом, Антона — жаром:

— Я уже просила никого ко мне не приводить. Я не знаю этих людей. Прошу оставить меня в покое.

Мужчина метнулся было к ней, она же увернулась и решительно вышла со двора. Антон, ухмыльнувшись, скрылся в доме. Участковый, стуча в окна, требовал уважения к своей служебной фуражке, да ничего не добился и поплелся вслед за поникшим приезжим, который не ругался, однако молчал довольно сердито. В молчании поднялся на паром и в молчании же отбыл.

Вечером товарищи напились, раздобыв самогонки, и Миша жаловался, что ему теперь светит нахлобучка от начальства, ибо хлыщ имеет какой-то вес в городе, но ради друга он, конечно, на все готов. А утром с похмелья пошли бродить, докачались до порта, потом до вокзала, поскакали от избытка жизни по шпалам, полезли в горы, как в детстве. Миша трепался почем зря, вспоминал, засмотревшись на белый горный позвоночник, сияющий на другом берегу. Рыжая трава ползла впер-

ди, озеро подкатывало к берегу ледяные лепешки и бочонки. Повсюду розовело: кустарники обрастали почками, готовыми со дня на день взорваться. Таились в траве чашечки прострела, покрытые легкой шерсткой.

Мужчины забрались на скалу, порченную тоннелем, и уселись на верхотуре покурить, слушая, как постукивают внизу в воде бочонки и лепешки. Миша вдруг сказал:

— Не переживай. Я все понял, не дурак.

Внизу в ответ постукивала своими счётами бездна: понял — ну тогда держись...

* * *

Младенец у русалки и Антона получился горластый. Орал, перекрикивая гудок мотани. Орал, перекрикивая теплоходы.

В город роженица не поехала, пару раз показалась врачу, которого держала железная дорога для своих работниц. Докторша с длинными седыми волосами, собранными в огромный пучок, походила на повелительницу ветров — худая, стремительная, безжалостная. Каждый месяц она объезжала маленькие станции. Поселковым бабам спуску не давала. Но к молодым беременным бывала обычно добра. После рождения (по этому случаю Раиса притащила к русалке местную повитуху, от старости почти уж безымянную, все звали ее просто бабкой) докторша осмотрела ребенка, заключила, что здоров, и велела приписать к поликлинике.

Когда крикун спал, Антон работал. Русалка, по обыкновению, садилась в кресло у окна и глядела на улицу. Если Антон работал в доме, то вполглаза наблюдал за ней, стремясь уловить особинку, которую отмечали все, но никто не мог назвать.

Мишина невеста Екатерина, плотная, крепкая, напоминающая радостную мощную тыкву, говорила просто: — Какая-то она у тебя не такая, — и неопределенно шевелила пальцами.

Миша ничего не говорил. Только задумчивей становился в присутствии русалки, весь подбирался.

Антон все присматривался. В чем заключалась особинка, не открывалось ни глазу, ни карандашу, ни кисти.

* * *

Антон устроился в поселковый клуб оформителем — кормить семью. Ни капли, впрочем, не сожалея о времени, он расписывал белыми буквами какие-то кумачи, малевал афишки для кинопоказов, мастерил простенькие декорации для театральной секции. За это время успевал о многом подумать, успевал соскучиться и радостно торопился домой к обеду.

Волнение, испытываемое перед лицом природы, перекинулось теперь на младенца, который менялся ежедневно, подобно поверхности озера, набирал вес и силу. Нечто неподвластное, неподконтрольное, свободное в его лице вышло наружу из русалкиного чрева и склоняло на свою сторону. Младенец колыхал руками и ногами, будто водоросль под водой. Круглые глаза, окруженные растопыренными гигантскими ресницами, жили своей жизнью: мутная, синеватая радужка начинала желтеть, ограниченная темным коричневым кругом, желтизна сверкала, словно крупинки золота прятались в прозрачном песке. Мать смотрела на мир точно такими же глазами. Чаще всего ее взгляд не имел никакого выражения, прямо как взгляд младенца, рассеянно собирающий из пространства какие-то важные только для него частички. Антон замечал это и удивлялся.

Русалка так и не обзавелась подругами, одна Раечка прибегала. В присутствии русалки черты ее лица по неведомой причине смягчались, обида отступала — и они вдвоем кроили-шили какие-то сложные наряды из старого, из простецких материалов, которые заказывали Мише, частенько бывавшему в городе по служебным делам. Женщины щебетали, разбирая привезенный заказ, Миша обычно подпирал дверной косяк, исподтишка разглядывая русалку. Она не то что похорошела с той поры — вроде даже и не похорошела. Просто появилась четкость, резкость в ее чертах. Или это он свой бинокль получше настроил, усмехался над собой Миша.

— Милая она какая, да? — шепнула ему однажды Раиса, когда русалка вышла укачать захныкавшего ребенка.

— Ну и чего милого? Женщина, да и все, — смутился Миша.

Но больше не от Раечкиных слов, а оттого, что в дальней комнате, дверь которой рассохлась и закрывалась не полностью, увидел картину предельной выразительности. Он вспомнил, что однажды увидел в учебнике у старших, а сам был еще маловат: рубашка у женщины раскрыта на груди, она кормит младенца, а за ее спиной темные горные гребни, а над ними высоко облака. Он был тогда поражен — не круглой грудью, поразившей бы его позднее, а высотой, на которой все происходило: мать и кудрявого младенца определенно заточили в высоченную башню! В доказательство этому он увидел птицу в пухлой младенческой руке: она влетела в окно и младенец, конечно, ее сцапал, как Мишина младшая сестра цапала все, что проплывало возле ее огромного круглого лица...

Однако старший лейтенант Миша, участковый Миша оценивал теперь отнюдь не общую ситуацию.

Русалка подняла глаза от младенца и уставилась на тайного зрителя. Миша дернулся, стукнулся о косяк, запнулся о жестяное ведро, произведя гомерический грохот: если бы боги на Олимпе захотели чем-то погреть, то погрели бы именно так. Заревел младенец. Русалка расхохоталась. Миша рванулся прочь. Раечка от изумления открыла рот.

* * *

Ее смех не покидал Мишиних ушей. На выходных он собрался с мужиками на охоту, вернулся позже всех, небритый, грязный, хмурый. Под недовольное ворчание Екатерины отмылся, побрился и отправился на пароме в соседний поселок, а оттуда автобусом в город. Рысью бегал по учреждениям, наводил справки в управлении, с конфетами явился в адресный стол.

Антон не хотел знать о ней ничего, Миша хотел знать все.

* * *

Вдруг не понимаешь, откуда оно взялось, ведь вроде и не было еще пять минут назад. Вдруг не понимаешь, за что тебя так нахлобучило. Вдруг тебя вынули из теплого мешка, поставили на ветру перед всей этой красотой и сказали — люби. Тут можно и растеряться. Особенно если вокруг внезапно обезлюдело: огромная водяная пустыня, огромная воздушная пустыня, огромная горная пустыня. Нет даже направлений. Никто ничего не знает.

* * *

Перешагнули наконец еще одну осень. Осенью Мише было особенно плохо, все в нем требовало дей-

ствий, требовало выхода. Он мужественно надевал форму, нацеплял пустую португею, шагал-вышагивал по улицам или, что хуже, бился, как муха, в своем кабинетике, выделенном для участкового портовой конторой. В грязноватое кабинетное окошко он видел, как русалка катила брезентовую колясочку с малышом, как на ее длинных бедрах колыхалась легкая, еще летняя, в темный горох юбка. Волосы, выгоревшие за лето, точно подернулись красноватым загаром. Она остригла их так, что была видна мучительно-бледная шея.

Она была определенно не в Мишином вкусе. После учебы в городе он вернулся в поселок, вкусов не поменяв. Она была целиком и полностью городская, а городские девушки казались ему смешными, уж очень похожими на птиц — на волнистых попугайчиков, которых держали в живом уголке детского сада: они щебетали, прихорашивались, были пестроваты и тонкокостны. Миша же выбирал девушек сочных, кондиционных, фигуристых — и обязательно длинноволосых. Такие обычно приезжали на учебу из районов, были медсестрички, учительницы или зоотехники. Отношения обычно получались насыщенные, но короткие. Миша не терпел над собою никакой власти, а полнокровные девушки — так уж ему везло — оказывались чрезвычайно властолюбивы. Его мать, жившая на соседней от Мишиной казенной квартиры улице, сердито шутила на этот счет. Она ждала и все не могла дожидаться внуков. Учительница Екатерина, последний сыновний выбор, ее вполне устраивала, как могла бы устроить полезная домашняя скотина или практичный ковер.

Русалка была не в Мишином вкусе — напротив, она невероятно раздражала его. Она была городская взрослая женщина, но совсем не смешная. Его разуму,

казалось, не за что зацепиться в этой женщине, чтобы составить хоть какую-то характеристику, она была текучая, изменчивая. Натурально, русалка, только сетью ловить, ругался про себя Миша, и на его простодушном лице созревала гримаса недовольства.

И тем более яростным было его недовольство, чем более его главный друг погрязал в своем чувстве. Что он нашел в ней? Чем взяла его эта худющая ведьма со страшными глазищами? А голос — точно ветер воет в ущелье. Точно река ревет. Точно ревет весенняя река, гонит тяжелую зимнюю воду с гор, освобождается. Наливается силой горной воды, расходится, топит все вокруг, сносит камни, заборы. Уносит человека. Уносит его, Мишин, разум.

Он наблюдал за ней. Он кое-что знал о ее жизни. У него в сейфе хранился ее паспорт. Ни она, ни Антон не захотели его взять.

* * *

Все полетело к черту в тот день, когда упал снег. Метели разбойничали где-то по распадкам, а после появились и в поселок.

Озеро стояло спокойным, поглощая мелкую небесную крупу. Всякая видимость пропала, словно распространился на многие километры густой туман. Потом закружило. И уже самые рассеянные мужики, из дачников, спешно заволакивали лодки глубже на берег, а то и запирали на зиму в сараи. Скотина медленно брела домой. Миша окончил мучительное сидение в кабинке и тоже побрел, напоминая себе глупого потерявшегося бычка.

На середине его пути ветер окреп, зарычал. Летали повсюду обеспокоенные красные и желтые листья, ли-

ственничные мягкие иголочки. Вдруг обрушились на улицу вихорьки, полные снега. В этом снегу слышно было мычание, бляение, человеческие голоса. В одном из вихорьков Миша встретил белую с рыжим корову, один рог розовый: русалка раскрасила. Вслед за коровой внутрь снежного заряда вошла она: простоволосая, шейка торчит из старой куртки, глаза горят.

Корову Антон купил недавно. Управляться с ней русалка еще не научилась. Подступала аккуратнo, просила, а корову нужно огреть — да и пойдет как миленькая. Миша развернул животное, придал ему нужное направление и русалку придерживал, чтобы не унесло. Так они дошли до места, поставили корову в стайку (Антон убрал оттуда весь хлам, накопленный покойным отцом в отсутствие скотины). Хлам валялся рядом, ожидая распределения. Из разноцветной кучи ветер вытянул длинный рукав старой тельняшки, который на ветру полоскался, будто завалило матросика и он размахивал рукой, помощи просил.

— Зайди, еще поможешь, — попросила русалка.

— Не. Катка ждет, — попятился Миша.

Русалка постояла перед ним, наклонив тонкую шею, словно раздумывала.

— До свидания тогда, — сказала и пошла в дом.

Миша стоял на дворе, наполнялся снегом, листвою, воздухом. И когда наполнился по самую верхушку, когда стал таким полным, что уже не продержаться было — разорвет, метнулся за ней.

Она ладила детскую кроватку. Антон с утра отбыл в город, Миша видел его на пароме. Кроватку, которую с этим же паромом им привезли по заказу Антона, она собирала сама. Действовала неловко, но настойчиво, методично. Могла бы мужика подождать, уложила бы

ребенка с собой. Ничего страшного одну-то ночь — не придавила бы. Чего она с этой кроваткой затеяла? Миша — как был в обуви, в форменной куртке — холодный, с горящим лицом, шагнул к ней. Она только на ногах удержаться и сумела, а больше ничего. Он ее сгреб, как будто вдохнул всю, и запутался дыханием в ее волосах, горячей щекой уперся в прохладную шею. Ее тело лишь словно бы удивилось, вопросительно изогнулось, немного смягчилось под его напором. Он чувствовал, будто бы гнет лозняк, пытается сломать, а тот не ломается, гнется. Поддается и не поддается.

Держа ее крепко, не выпуская, отодвинулся, сделал усилие и взглянул на нее. Взглянул, отшатнулся. Лицо ее было спокойно, как всегда, глаза чуть потемнели, блески в них переливались под воздействием электрического света, губы приоткрылись, немного набухли.

Он понял вдруг, что мог бы уронить ее на кровать, на диван, совершить с ней то, чего мучительно хотелось, мысли о чем убаюкивал он беспощадно и безрезультатно. Однако ей было бы все равно. Она бы впустила его в себя как вода, поглотила бы как вода, а сама бы забылась, раскачиваясь. Он бы утонул в ней, а она бы равнодушно гнала и гнала свои волны. Волны приходят одна за другой, сменяют друг друга, время течет. Но вода хранит память обо всем — так, он слышал, говорил по телевизору один ученый.

Он закрыл глаза и ослабил хватку. Она не шевелилась. Он уронил руки и стоял с закрытыми глазами, мнилось, целую вечность. Из этой вечности поднялась неловкая догадка:

— Может, его тоже не любишь.

Она не шевелилась, стояла рядом, тихо дышала. Вместо нее вечность ответила ему:

- Не люблю.
— Значит, прошлое не ушло?
— Не ушло, не ушло, не ушло... — шипела вечность.

* * *

К утру стихии утомонились. Паром чуть задержался, но пришел. Привалился тяжелым телом к причалу.

Съехало две машины. Прошагали люди. Антон, больше, чем обычно, подволакивая ногу, — к непогоде она наливалась тяжестью и, казалось, даже скрипела — спустился, огляделся: все было незнакомо, за ночь обновилось.

Он доковылял до дома. Русалка встретила его, улыбалась больше, чем обычно. Ребенок спал.

Она спросила, все ли благополучно. Усадила, растерла больную ногу.

Пришла Раечка. До вечера женщины шептались в зале, раскидывая на большом столе выкройки, листая журнал мод, который привез Антон.

Он с удивлением обнаружил, что младенец помещен в новую кроватку, которая была собрана и устроена в теплом и светлом углу их спальни. Достал хнычущего сына и переложил на большую кровать, и так оба они уснули под женское шушуканье, смешочки и шелестение.

Русалка заходила дважды. Смотрела на них и уходила. В ее круглых желтых глазах собиралась тяжелая, густая вода.

* * *

Они славно пережили зиму. В декабре, под Новый год, приехала в гости мать. Она нянчила внука и наблюдала за невесткой, в которой подметила какую-то

странность, но определить ее словами затруднялась. Русалка ей не понравилась.

— Антош, чего она у тебя словно неживая? Стесняется?

Сын отшучивался.

Мать уехала только к весне, вдоволь нагостившись и нанянчившись.

В ночь после ее отъезда был сильный ветер, распахи-вал двери. Беспокоился ребенок, русалка передела его и бродила по дому, качая.

Антону тоже не спалось, мир вертелся, стучался в окна. Отозвавшись, Антон вышел на крыльцо. Этот ветер он узнал, этот ветер сулил перемены. Наверное, потому, что это ветер весны, подумал Антон. В голове он набрасывал картину, в которой решил дать особенно легкое движение мазку, презреть плоскость, скользнуть, взорваться. Цвел уже багульник. Багульник станет отличным фоном. Замысел созрел наоборот — словно сама картина уже существовала и Антону следовало только извлечь ее из тайного хранилища: извлечь по частям, собрать и предъявить миру.

Русалка уложила младенца. И теперь тихо плакала, стоя у раскрашенного кухонного шкафчика.

Антон вздрогнул. В слезах слишком много человеческого, удушающего, тесного. Они как биография, как дневник. Лучше без них. Лучше без вопросов и без слез, пусть все будет сейчас.

Она смотрела на него, ожидая вопроса. Но он ничего не спросил. Поцеловал, обнял и повел в кровать. Когда легли, она все смотрела. Наконец он не выдержал:

— Спи.

Она послушно закрыла глаза и затихла.

* * *

Утром вылезло солнце, заулыбалось во весь солнечный рот. Антон побывал на службе, соорудил картонное дерево для поселковых театралов, а после надумал писать багульник. По дороге забежал домой перекусить.

Разогревшийся воздух навис над крыльцом и трогал двери, искал щелочку проникнуть, полюбопытствовать, как перезимовали. Однако дверь была закрыта на замок. Антон удивился, нащупал над косяком ключ, вошел. По стеклу в доме поползли мухи и настойчиво жужжали, требуя выпустить их на волю.

На улице бегали мальчишки. Их голоса носились в воздухе, как стрижи перед непогодой. Ранцы свалены кучей на берегу. Один из мальчишек — Раечкин, с таким же, как у матери, острым лицом. Раечка двигалась по улице в направлении ребятни. Схватила своего, наподдала. Пацан забрал ранец из кучи и побрел прочь. Раечка кричала что-то, размахивая руками. Остальные мальчишки тоже подобрали сумки и тоже побрели.

«С урока сбежали», — сообразил Антон. Раечка заметила его, торчащего в окне, помахала и направилась к дому, намереваясь зайти. Он встретил ее на крыльце.

— Твоя где?

— Ушла куда-то. Гуляют, что ли?

И заволновался лишь к вечеру, когда, оторвавши взгляд от мольберта, увидел в окно, как вдалеке, двигая перед собой горы воды, шел ветер.

* * *

Отец рассказывал ему в детстве, что озеро никогда не бывает спокойным, рождая ветра во всех распадках и углах. Они срываются с горных вершин, выползают из пещер, не злонравные, но равнодушные, поэтому

опасные для человека. Ветра созревают летом на ягодных кустах, зимой вылупляются из ледяных яиц. Они хозяева воды, гор и всей растительности. Они рыскают всюду и озорничают, как дети.

Сейчас ветер шел, поднимая воду, вбивая в облачную паклю ее мрачный рассыпчатый перламутр. Вокруг темнело. Антон зашагал по улице, ускоряя шаг по мере того, как сгущалось пространство. Ему навстречу издалека двигалась фигура, в которой он признал Мишу. Тот одной рукой прижимал к груди что-то небольшое, а второй волок за собой что-то длинное, формы неопределенной. При ближайшем рассмотрении небольшое оказалось мальчиком, а неопределенное — коляской, в которой русалка возила сына на прогулки. Бывало, они всей семьей уходили за мыс, спускались на каменистый пляж. Там она любила бывать и до появления сына. Сядет и сидит как приклеенная, смотрит на воду, иногда камушек бросит. Новое качество свободы открылось в этих прогулках Антону: возможность просто быть среди растений и камней, быть у кромки воды не художником, а человеком. Не жалеть — потому что все излишне, не жалеть — потому что нечего жалеть из-за отсутствия желаний. Не хотеть увидеть, а видеть...

Миша протянул ребенка отцу, Антон принял сына. Мишино лицо менялось, морщилось от ветра.

— Антоха, че за новости?

Ветер отнес Мишины слова куда-то в сторону, забросил в воду, и прозвучали они неразборчиво, как из глубины: буль-буль-буль.

— Где она? — вопрос друг другу задали одновременно.

Антон услышал: буль-буль-буль... Повернувшись лицом к озеру, сильно обхватив малыша, устроенного под курткой, он всмотрелся в массу воды, похожую на гиб-

кий рыбий бок, инфернально блиставший чудовищной чешуей. Гигантская рыба восстала из озера, гребла плавниками, открывала пасть, выпуская пузыри: буль-буль-буль. Зачем она пришла?

Мальчик заплакал, сдавленный в отцовых объятиях. Миша схватил Антона за плечи и подтолкнул вперед.

— К Раисе мальчика отнесем, — скомандовал он.

В его круглой голове закрутились-забегали мысли. И одна мысль прицепилась: неужели опять?

Доковыляли под ветром до Раисино дома. Хозяйку не нашли на месте, сдали ребенка ее старшей дочери, испуганно вскинувшей брови. Выходя со двора, Миша велел Антону идти до магазина и искать на пристани, заглянуть к женщинам, для которых русалка шила. Сам припустил к вокзалу, от которого начинался удобный спуск к воде.

На деревянном помосте у вокзала, куда привозила и откуда забирала груз и пассажиров мотаня, ежедневно собирались древние бабки и вели свою вечную беседу. Сидели на лавочке, бубнили. Здесь Миша и обнаружил полчаса назад мальчика в коляске. Тот сладко посапывал под старушечье воркование. Матери его нигде не наблюдалось. Миша отправился в здание вокзала, деревянный длинный домишко, оставил конверт, который машинист мотани должен доставить в райцентр (в конверте лежало заявление на отпуск), и вернулся к младенцу. В нем поднялось служебное беспокойство. А помимо служебного, нарастало и свое личное. Старухи, растревоженные потемнением и гулом, идущим с озера, встрепенулись и поползли по домам. Миша, поняв, что малыша их заботам не поручали, сгреб младенца, подтянул коляску, понес домой.

Теперь он возвращался назад. Искать ее.

* * *

Миша часто следил за ней. Не то чтобы подглядывал — наблюдал.

Он видел ее разную.

Служебный интерес сменился раздраженным вниманием, затем заинтересованностью ревнивца и, наконец, страданиями отвергнутого любовника. Прячась в огромных валунах, он смотрел, как она входит в воду, видел будто бы ее чешую, и будто бы плавник между тонких ледяных лопаток, и будто бы даже хвост, мелькающий, когда она совершала короткие заплывы в ледяной воде.

Однако вот уже некоторое время он был спокоен. Миша чувствовал, что отупел от безнадежного чувства, устал и всеми силами готов ему противостоять, — но не знал как. Это все от любопытства, говорил он себе, оправдывая ситуацию, в которую попал. И занимался службой, а потом хозяйством, а потом ночными делами с Екатериной. Грусть и томление он носил как бы в потайном карманчике. Если же случалось наткнуться на русалку, то карманчик сам собою открывался. Тогда он шел следом, прятался на берегу за валунами, курил за углом магазина, когда она покупала хлеб. Смотрел из окна кабинетика, если она катила коляску по главной улице. И мечтал избавиться от ее навязчивого образа, уехать хоть даже в город, а лучше на юг: там, говорят, есть такие же пейзажи, и море, и скалы, и рыба. Хотя такого наполненного, такого ясного существования, как дома, он, конечно, нигде больше не добьется...

Миша спустился от вокзала к самому берегу, добежал до скалы, за которой начиналась широкая полоса каменистого пляжа. За скалой обычно ночевали туристы, городские отпускники, любители бардовской пес-

ни или альпинисты, прошедшие сотню километров через все тоннели и мосты и ожидающие наутро мотаню, чтобы отправиться в райцентр, или паром, чтобы вернуться в город. Они ночевали на берегу, а утром вползали в поселок, похмельные, уставшие.

Выше, в распадке, украшенном переливчатой ленточкой крошечной реки, впадающей в озеро, рассыхалась маленькая усадьба. Ниже, на берегу озера, должна быть лодка, брошенная гнилая моторка без мотора. Хозяин дома и лодки умер. Лодка обычно пела от ветра. Запоздавшие льдины стучали друг о друга, аккомпанируя отрывистой туземной песне.

Миша, прорывая воздушный поток, двигался в направлении лодки. Ветер мешал смотреть, давил на веки. Сквозь ярость воздуха он наконец разглядел место. Лодки не было. Он поднялся в распадок, который розовел и местами уже зеленел, но всклокоченными желтыми волосами еще колыхалась пустая прошлогодняя трава. Усадьба не подавала никаких признаков жизни.

Внутри стояли на подоконнике разнокалиберные банки. В кухонном закутке ютилась закопченная посуда, оставшаяся от хозяина, торчал у окна полуразрушенный стол. В комнате прижалась к полу панцирная сетка от кровати, а дверь подпирала единственная табуретка — их никто не захотел брать. Основную же мебель давно растащили сельчане. Не было и стекол. Туристы затянули оконные проемы мутной полиэтиленовой пленкой, и она теперь шумела под ветром.

При скудном свете, который пропускал грубый полиэтилен, Миша обнаружил на столе вместительную широкую кружку — в горох, с отбитой ручкой. В кружке была вода. Кружка встревожила Мишу. Для туристов рановато: они появлялись позже, в свой се-

зон, когда поднимались ночные температуры. Рыбаков здесь никогда не бывало.

Он побежал к берегу. Бежал вдоль, дальше и дальше. Берег резко взмыл вверх. Миша поднялся, вошел сквозь тоннель, прорубленный в скале, самый длинный на протяжении всей железнодорожной ветки. Черная труба ничем не оканчивалась, впереди не было маленькой светлой точки, как в других тоннелях, точка появлялась позже, когда половина расстояния уже пройдена. В этом тоннеле всякий звук делался отдельным, сосредоточенным. Каждый шаг звучал, каждый имел значение. Идущий ощущал себя отдельным от мира, само существование становилось в этой черноте, лишенной постороннего движения, осязаемым. А это куда страшней с непривычки, чем ощущать присутствие рядом с собой кого-то еще, пусть даже и невидимого, неизвестного. Но Миша был здесь свой, и сейчас чернота была для него лишь расстоянием, которое надо, ради всего святого, побыстрее преодолеть. Светлая точка наконец появилась, постепенно она становилась кругом. Открылся вновь яркий мир, который играл звуками и формами.

Рельсы уходили дальше, к мосту, нависшему над следующим распадком, выпускающим из расслабленного горла буйную и широкую речку. Миша сверху видел ее устье. Там, среди ледяных пятен, плавал красный цветок.

* * *

Ничего. Вот так-то: ничего. Все мучения были случайны и напрасны.

Все и ничего. Когда они достали ее из воды в первый раз, она уже была и всем и ничем. Ничем для них. Она

решила все для себя раньше, чем попала к ним в сеть. Случайно и напрасно попала?

Разве случайно? Миша огляделся вокруг: море больше не ревело, оно стихло, приветствуя его траур. Какое счастливое время: она пришла к ним в сеть, наполнила смыслом грубые скалы, успокоила буйную глубину. Разве напрасно? Никогда раньше он не ощущал, что радость — это то, что разлито вокруг него чьей-то щедрой рукой. Радость и горе вовсе не противоположны. Они друг другу части, половины. Теперь он горюет и радуется. Теперь он на самом деле все понимает...

* * *

Русалка была легкой — не как обычные мертвецы.

Он зашел в озеро по пояс, он тащил ее из ледяной воды. Льдины стучались о ее бока, о ее ноги. Верхняя пуговица на красном пальто (он привез ей отрез ткани на это пальто) оторвалась, пальто раскрылось, под ним заблестела она настоящая, ее серебристая чешуя.

Теперь для нее следует определить место.

Все еще стоя в воде, он слушал, как ветер переходит на шепот. Как льдины отвечают ему шуршанием. И расслышав в этом разговоре то, что касалось и его непосредственно и прямо, развернул плавучее тело и побрел с ним в обратную сторону, от берега, не замечая, что сам весь горит от холода. Наконец, оттолкнул мертвую прочь — без сожаления и с грустью. Тело двинулось по свободной воде вперед. Никто никогда не узнает о нем ничего.

* * *

Это все случилось так давно, будто и не случилось, а если случилось, то не с ним, не с Мишей. Его будто

бы на свете еще не было в те стародавние времена, в те времена, когда мужики ловили и пороли березовыми розгами маленьких озорных фараонов. Миша вздохнул и отер лицо ладонью.

— Съезжу. Только в море выйду, — повторил Антон, посмотрев на небо, освободившееся от дождя и уже блестящее сладкой голубой глазурью, как пряник.

По сыну он скучал, но в его присутствии начинал страдать, глядя в круглые, светло-карие, почти желтые русалкины глаза. Хорошо, хоть внуки пошли не в нее.

— Успокаивается, — заметил Миша, почувствовав, как меняется погода.

На смену горькому воздуху пришел сладкий, пряный. Такой же ветер, вспомнил он, подул и в тот день, когда он мокрый, страшно замерзший, толкнул ворота Антонова дома. Отомкнул дом, скинул одежду, завернулся в одеяло, пытаюсь согреться.

Антон вернулся уже в темноте. Смотрел вопросительно. Миша помотал головой — ничего. Вдвоем сидели в остывающей избе, не глядели друг на друга. Не говорили.

Спустя сутки прибыло подкрепление — два молодых милиционера из райцентра, по настоящему вызову участкового. На поиски русалки двинула половина поселка. Миша командовал. На следующий день заявился и следователь, выпал из мотани. Вдвоем они прошли по домам.

Миша слег на третий день. Его увезли в город. Русалку не нашли. Следователь помывкался еще пару суток да и вернулся в райцентр — расследовать на расстоянии.

Через месяц Миша появился в поселке страшно худой, но бодрый. Антон встретил друга на пристани, тоже худой, словно и он жестоко переболел. И сообщил:

— Не нашли ее. Зачислили в пропавшие.

В голосе товарища Миша услышал облегчение и смирение, какую-то успокоенность и — на минуту показалось — радость. Ведь пропавшая — не значит погибшая. Наоборот, много людей пропадает и по собственной воле, сбегают — и все. А может, настанет срок — и вернется...

Миша покивал, мол, уже знаю. А сам думал: озеро никогда не отдает своего. Хотя и ему поначалу было легко...

Летом Антон закончил портрет русалки с ребенком на руках. Миша, все еще сидевший на больничном, приходил, устраивался у окна, взгромоздясь на табуретку (русалкино кресло стояло пустым, никто не смел его занять), и долго смотрел, как Антон работает — жадно, сосредоточенно, словно спешит к тому моменту, когда она снова появится, готовит ей сюрприз. Она утонула, хотел сказать Миша. Но язык не поворачивался.

Он попросил нарисовать птичку в младенческой руке. Антон сейчас же и нарисовал.

Миша выпросил эту картину себе.

* * *

Долгие годы Антон, просыпаясь ночами, часто думал о том, куда бы ему податься из поселка. А не вернуться ли в город, отказать жильцам, которых пускал за небольшие, но верные деньги, и вселиться в квартиру? А не податься ли к матери, прихватив сына? Мать, наверное, была бы рада. Однако, прислушиваясь к ночным звукам, он начинал сомневаться: звуки свидетельствовали, что он одинок в бесчувственной, хоть и ярко звучащей вселенной. Мать не полюбила русалку — так что зачем ему ехать, везти груз памяти туда, где ему нет ме-

ста? Оставалось принять одиночество как есть. Потом мать умерла, и он перестал метаться. Начал выходить в море как рыбак, забирать себе часть улова — брал выкуп за утерянную часть своей души.

Когда вырос и уехал в город сын, Антон зажил бирюком, разделяя досуг только с Мишей и лодкой. Он много писал, картины его покупали музеи и частные коллекционеры — с большой перспективой на будущее, ибо его работы имели одно удивительное свойство: спустя время краски приобретали неожиданный оттенок, линии становились четче, лица свежели. Они словно бы открывались, посвящая заинтересованного в секреты молодящегося космоса.

Наступление старости Антон определил по внукам: ломались голоса, обозначился яростный характер одного и твердый — другого. Их отец не любил возвращаться в родной поселок; мальчики, напротив, стремились на волю, природа притягивала их, свободолюбие расцветало в присутствии деда, который со временем все больше походил на лешего, зарастая бородой и морщинами.

Старость привлекала Антона. Она обозначала рубеж, перейдя который, жизнь его станет иной, непревзойденной, непредсказуемой, просто ветром. Он сможет наконец увидеть все и всему дать справедливую оценку. Затухшее горе, будто и не тревожившее его в последние годы, тлевшее так тихо, так невидимо и не дававшее никакого тепла, восстанет в ином качестве, разойдется магическим костром, который, может быть, спасет кого-нибудь, кого-нибудь согреет. Эта энергия освободится и будет полезна кому-то. Для него самого неизвестность не может быть пережита, его песенка спета. Ей невозможно переболеть, ибо как факт она не-

определима. В конце концов, нашу жизнь определяют несбывшиеся мечты и потерянное счастье.

Часто он засиживался на берегу до глубокой ночи, когда звезды укреплялись на небе и торчали, не мигая, сливая свой свет с волнующим, текучим светом большой луны. Становилось ясно, что больше нечего изобразить, что любое искусство обесценено этим лунным потоком, прекрасным бессовестно, безнадежно. Что в любой изобразительности звёзды не больше чем шляпки гвоздей, на которых держится подвытертый небесный плюш, а под ним — пустой холст и грубая рама, укрепленная фанерными уголками. В череде поспешностей, которые стали его человеческой жизнью, он никогда не имел времени и смелости засомневаться в этом плюше, в этих гвоздях. Но длящееся с некоторых пор совсем по-иному время прогрызло тряпку подобно моли, а гвозди ржавели и отваливались.

* * *

Когда старики вернулись в дом, там неспешно тек разговор. Серега рассказывал о пожарах, которые идут с востока и посылают дым во все концы. Его сын работал на восточном берегу егерем. Степаныч, капитан парома на пенсии, все жаловался на упадок порта. Антон сочувствовал Степанычу: конечно, порт захирел давно, за ненадобностью, однако понять и принять это означало отказаться от прежних лет молодости, от всей, что ни говори, жизни.

Александр, зимний городской житель, перебирающийся в поселок в мае и уезжающий с последним паромом, делился планами оставить к пенсии квартиру детям и покинуть город насовсем. Антон понимающе кивал. А Миша скептически мотал головой: у него были мысли убежать

отсюда в город или в теплые края. Другой вопрос, что бежать ему было некуда, не к кому. Семейей он не обзавелся, выставил однажды, давным-давно, Екатерину — и на этом все. Мать сильно ругалась, да Мише ее ругань была безразлична, так что она могла преспокойно ругаться до самой смерти. Так и случилось. Похоронив ее, Миша перешел на службу в рыбнадзор, а на досуге воспитывал детей старшей сестры, вдовствующей на самой верхней, близкой к тайге поселковой улице. Девочка не чаяла в нем души, а мальчик был таким же, как и Миша, круглолицым молчуном и чувств не выказывал. Но и племянники выросли, разъехались по самым дальним углам.

По правде говоря, все старики, собравшиеся в этой комнате, оказались предоставлены самим себе. Старость всегда предоставлена себе самой, ведь у человека остается очень немного времени, чтобы отыскать смысл жизни. Каждый это понимает. Миша вздыхал и вспоминал красный цветок, распустившийся в ледяной воде, окруженный задумчивым майским льдом и освобожденный, отпущенный наконец в свободное плавание. Или же отпущенный тоскливо скитаться? Миша тогда сдал районному следователю паспорт русалки, а об остальном ни слова. Никогда и никому — ни слова.

* * *

На следующий день принесло дым, обещанный Серегой. Он белым покрывалом распределился над сопками, над озерной гладью и не был еще удушлив, а только красив.

Дым копился с неделю, а потом солнце стало просвечивать сквозь него белым сгустком с кровавым ободком. От него бежала по молочно-белой воде, подернутой мельчайшей рябью, красная дорожка.

В дорожку вросла, привязанная к столбику разрушенного пирса, старая деревянная лодка — таких уже и не держал никто. Эта осталась как достопримечательность. О ней заботился Степаныч, берег от погибания. Лодка когда-то принадлежала парому, по возрасту спisanному, как и старый капитан.

Все пропиталось запахом гари. Пахли даже и камни, и дерево. Пахла гарью сама бездна, на которую Антон ходил смотреть. Передвигался тяжело, хромяя нога упиралась, идти не хотела. Он сидел на камнях у причала, ковылял по рельсам, выдыхаясь к первому же тоннелю. Задира л голову, смотрел наверх. Оттуда, с верхушки скалы, наглыми глазами сверкала в ответ его молодость.

Природа по-новому говорила с ним, не обнадеживала, а призывала. Скалы теперь казались ему еще более крупными, чем виделось в детстве, деревья приобрели обморочную высоту. Земля становилась ближе, определеннее.

Такая определенность пугала: она сталкивалась с неизвестностью, которая пришла в его жизнь много лет назад — и которой он был до поры рад, не предвидя последствий. Он ничего не хотел знать о женщине, что так скоро покинула его. Но женщина ушла — и неизвестность заполнила его всего. Можно сказать, что он сам стал ею, владея секретом, смысл которого сохранялся, не скомпрометированный отгадкой. Неизвестность он принял как дар, а потом спасался ею, не желая исполнить тайны, — да не спасся, так как нельзя убежать от себя самого. Он сожалел, что принес в жертву художнику человека: время человека истекает, время художника — никогда, даже если он забыт. Художник может жить неизвестностью, которая питает его дар и

дает ему возможность раскрыться особенно полно. А человеческое против нее протестует. Не поздно ли раскрыть глаза сейчас, узнать обо всем, принять? «Поздно», — скрипели сосны на скалах. «Поздно», — плескалась белая слепая вода. Озеро казалось бельмом на каком-то огромном глазу. Дело казалось безнадежным.

* * *

Дым начал рассеиваться, когда пришли грозы. Мальчишки с сожалением отбыли к родителям в город: подходили учебные дни.

Антон и в непогоду выходил на берег или бродил по рельсам, волоча ногу. Штормило. Озеро ругалось самой площадной бранью, сосны скрипели на верхотурах.

Миша, простудившись на рыбалке, слег — кашлял, хрипел, температура вызывала кошмары. Его навещала Раечка, чье лицо от старости расплылось и теперь напоминало не мордочку ящерицы, а ноздреватый блин, и еще Раечкина дочка, заменившая мать в фельдшерском пункте. Ехать в больницу в райцентр Миша отказывался категорически. Антон не заходил.

Минула пара недель, прежде чем нездоровье отступило и могучий, хоть и старый уже организм задышал свободно.

— Все легкие просмолил, вот и болеешь. Кури, что ли, поменьше, — напоследок дала совет Раечка, привыкшая напутствовать больных.

— Пойду, что ли, покурю, — спокойно отвечал ей Миша, не терпевший никаких указивок, и вышел на крыльцо.

Шторма закончились, царило лазоревое благообразие, какое Миша очень любил. В такие дни его охватывал восторг, для которого он не смог бы подобрать

слова, восторг безысходный и беспричинный, как в детстве. Он захотел пройтись, выйти на пристань, подняться к сестриному дому: тот торчал пустым черным пнем с тех пор, как сестра умерла, а племянники уехали. Миша мог бы перебраться туда (все же хозяйство составлено было женской заботливой рукой), а свою берлогу, запаутившую после смерти матери, оставить. Но никак не собрался.

Раечка постояла вместе с Мишей на крыльце, оглядывая его некрасивый двор, забросанный автодеталями, чурками и хозинвентарем.

— Антона чего-то не видно, — вдруг пришло ей на ум.

Да уж, она его за последний месяц часто вспоминала, рассматривая русалку с младенцем на картине, которую Миша примостил над кроватью. Ей представлялось, что Антон где-то там, внутри картины, в одной из неотчетливых дальних фигур за окном, маячит на заднем плане. Только сейчас пришло в голову, что не видала она его ни в магазине, ни в амбулатории, где частенько принимала больных, подменяя многодетную дочку. А ведь Антон в этот год нередко приходил с жалобами на давление.

— Ну да, — Миша, запахнув старую куртку, спустился с крыльца — как был в домашних тапочках, открыл ворота.

И они с Раечкой побрели по улице. Она отстала у магазина, неся свою по-прежнему длинную, худую, но теперь старчески тяжелую фигуру. Казалось, у нее свинцовые кости — так медленно она поднимала ноги, с задержкою опускала их, шагала как слон. Миша свернул к Набережной улице, дошаркал до дома друга, то и дело теряя резиновые тапочки. Внизу у воды место Антоновой лодки пустовало.

Во дворе лодки не было тоже. Дом стоял незапертым, амбарный замок, которым Антон прихватывал дверь, если отчаливал на рыбалку или уезжал в город, валялся на крыльце. В доме возились мухи и орала кошка, выскочившая, едва Миша распахнул дверь.

Он обошел комнаты. Обнаружил на кухонном окне подвешенный в сетке очерствевший хлеб. Все остальное прибрано, пустовал и мольберт. Однако холодильник работал, в холодильнике мерзла кастрюля с супом, электросчетчик не вырублен. Старый рюкзак, который Антон, уезжая к сыну, всегда брал с собой под завязку набитым рыбой, — на месте. Болтается на крючке, а рядом выходная Антонова куртка. Не поехал же он в город в своем древнем плаще. Трость, которую товарищ брал в дальние путешествия, тоже на месте, за дверью.

Миша ощутил тяжелую приливную волну. В нем словно поднялось созревшее цунами, завернувшее в рулон поселок, окрестную тайгу и вообще все, что видно глазу. Миша крутился, задыхался в центре волны, которая давила, но не убивала его, только давила. Он успел добрести до кресла, в котором когда-то любила сиживать русалка, а до нее — Антонов отец, все — мертвые.

* * *

Волна ушла, оставив после себя чистое пространство — камни, среди которых цвели сердолики, яшма, какие-то зеленые и голубые глазки, пузатились розовые полупрозрачные виноградины.

Надо было рассказать, освободиться еще тогда, а теперь волна обнажила чужую и давно погибшую жизнь, память о которой он присвоил не по праву, держал в клетке, предполагая в этом благо. Он не сожалел о со-

деянном, преступления не было, он вернул пустыне пустое, глубине — глубокое. Пустое ходило и говорило и даже — вдруг! — наполнилось силой посторонней любви и породило полное, породило сына. Но это всего лишь чудо. Там, откуда жизненная сила давно ушла, вновь стало пусто.

Вот бы и память об этом улетела какой-нибудь крикливой жадной чайкой или мелькнула прозрачной рыбкой — не увидеть, не припомнить. Только память не чайка и не рыбка.

Нет никакого преступления. Есть долг, который превысил себя. Невозможно отдать то, что стало собственной кровью.

Стать хозяином чужой неизвестности — вот уж тяжелая участь, носишь ее вроде как за двоих. Такое твоё наказание.

И у кого теперь ему просить прощения?

...Когда Миша очнулся, вокруг ничего не изменилось. Только за окном терзался, требовал чего-то жаркий ветер.

Предстояло войти в новое, которое, назвав, он ожидал. В открытое море.

* * *

Огромная спина воды сияла ровным светом. Мышцы ее напрягались, вздымались, тут же и расслаблялись.

Миша, окончательно придя в себя, переобулся в старые Антоновы ботинки и отправился в путешествие, равного которому еще не совершал. Конечная цель была неясна, а начало терялось во времени.

Путь пролегал мимо почты, магазина, мимо порта и станции. В пустынной стране собственного сердца.

Отчего кровь его замедлилась? И ноги одеревенели отчего? Но он идет.

В детстве у него была маленькая трубочка, внутри которой происходили странные вещи. Глаз не мог оторвать, заглядывая в ее сердцевину. А сейчас он идет внутри этой трубочки и складываются вокруг замысловатые узоры. Принцип их сложения понятен, однако никогда нельзя угадать, какой узор будет следующим: настоящая красота неповторима.

Путь такой долгий, можно вспомнить всю жизнь. Вспомнить и выделить главное, о чем-то погрузиться, чему-то обрадоваться. Раньше он не замечал, что одинок. А теперь что случилось? Почему сила одиночества выстроилась перед ним темным лесом?

Он шел тем же путем, что и много лет назад в поисках русалки. Завернул за скалу, миновал подпорную стенку, воздвигнутую итальянцами, фриулианскими мастерами, в ответ на безудержность здешней природы. Дальше, по светлому распадку, в счастливом неведении бегали дети, грела охряные бока, набирая солнца к зиме, новенькая турбаза, выстроенная на месте старой усадьбы. Теперь турбазе, а не усадьбе напевала прохладную песню речка, рассекавшая распадок на две неравные части. Вокруг выстроился темный лес. Он будто бы притаился, ждал до поры, прикидывался неподвижным.

Миша спустился к речке и вдоль, по скользкой, замыленной от постоянного хождения тропинке, прошел к озерному побережью. Речка с восторгом нарушала величественный покой озера, подскакивая на камнях, вертя пену и травяные стебельки. Постоял, подумал. Потом поднялся от берега к длинному тоннелю. И нырнул в его темноту.

Вынырнув, увидел высокий мост со свеженькими, недавно переложенными шпалами, а внизу - следующую реку, питающую озеро своей дикой водой, и — то самое место. Путь к нему такой долгий.

Если он после смерти попадет туда же, куда и Антон, то при встрече скажет: она как могла любила тебя, изо всех сил любила, но ее жизнь уже была закончена до тебя, она стала призраком моря, женщиной из рыбацких сказок, появляющейся в расщелине дна вместе с чистой водой. И это будет настоящей правдой. Потому что правда не безжалостна, как принято думать. Правда как вода — течет, питает, изменяется и меняет.

* * *

Фонари в поселке горели через один. Но этого было достаточно, потому что луна набрала силу и светила со всей дури, обещещивая парочки, притаившиеся во всех углах: в клубе случилась дискотека.

Миша завернул в свой проулок и толкнул калитку. Путешествие вымотало его. Темный двор осветился тем неловким и неустойчивым светом, который рождается отражением. По двору словно пошли волны, в волнах зашевелила плавниками рыба, заблестела боками. Заволновалась донная растительность, обозначились на стене дома ломаные силуэты подводных губок. Видно было каждый камень, слагающий дно. Видно было, как обрывается в районе крыльца, накрытого сверху глубоким козырьком, бездна, уходит вниз трещина в теле земли. Миша шагнул в ее темноту.

В бездне он разглядел красное свечение, крошечное, затем маленькое, затем снова крошечное и снова маленькое. Будто идешь по кишке тоннеля к выходу в жаркий день, когда воздух плывет, свет впереди неров-

ный. Обвыкаешь, и, хоть глаз кругом коли, кажется, что зрению доступны мельчайшие передвижения воздуха, создающие видимость. Ты не видишь стен — но будто бы видишь. Не видишь фигур, даже если кто-то движется с тобою о бок, — но будто бы видишь. И сейчас: словно сидит на крыльце, в самой бездне, фигура — сутулая, бесформенная. В детстве мальчишки собирались компанией, чтобы играть в тоннеле в страшные догонялки, — хватали друг друга в кромешной тьме. Миша выбросил вперед руку.

— Сдурел, что ли, на старости-то лет? Сказать зашел, чтоб собирался, в море завтра пойдем. А потом к сыну поеду.

Бездна, говорившая Антоновым голосом, зашевелилась и отступила.

Последняя станция



Иринин платок быстро выцвел. Он был красный. Теперь – слабо-розовый, некрасивый. Но ничего не одеешь, придется носить – форма есть форма.

Такой же слабо-розовой выросла Ирина. Ее красота, как будто неполная, недодаденная, скрадывалась бесцветностью, точнее, общим неопределенным цветом – глаз почти голубых, волос пепельного невыразительного оттенка, кожи бледной и очень тонкой, вроде розовой, но будто чуть подвыцветшей. На подбородке Ирины жила родинка – единственное, что добавляло ее облику живости. И еще носик смешно шевелился, когда она улыбалась или говорила.

Шевеление носика Ирина относила к своим главным недостаткам, также как слишком острые локотки и ровную фигуру. Ей хотелось быть воплощением формы и цвета, воплощением податливости и жизнелюбия. Она, конечно, любила жизнь, но как-то про себя, за что некоторые коллеги не принимали ее, считая высокомерной умницей. Умниц никто не любит.

Она вправду была умницей – ответственным, серьезным человеком. Ответственным до ярости в бодром сердечке, перекачивавшем чистую кровь маленького тела. В школе Ирина сидела за партой необыкновенно прямо, аккуратно сложив пальчики, исправно поднимала руку. Она ощущала себя блестящим острым механизмом, результатом работы которого были школьные успехи. И красивая, яркая мать наконец-то улыбалась, хотя и чуть снисходительно, и прикасалась к бледной щеке дочери. В такие моменты мать будто бы одобряла

ее существование. В другие будто бы не очень. В «Детском мире», например, она преображалась: из благодушной женщины делалась презрительно холодной, требовала у продавца всё новые и новые фасоны, прикладывала к Ирениной фигуре полученные платья, но оставалась недовольна, это было видно по ее глазам и губам, уголки которых она умела поднимать саркастически. В конце концов она что-нибудь покупала – вместо платьев Ирине чаще всего доставались брюки, а если и платья, то самые скромные, неброские. Мать считала ее некрасивой, чуть ли не уродцем, хотя ничего отталкивающего во внешности дочери не было. Просто она сама слишком сосредоточилась на красоте и ей хотелось нянчить великолепную куклу, а не воспитывать живую девочку.

На балльные танцы, о которых Ирина мечтала, ее так и не отдали. Мать своим взглядом словно говорила: ну посмотрите на нее, какие ей танцы?! И отдала в художественную школу. Девочка послушно рисовала. Ярость ее сердца рисовала за нее. Впрочем, рисовала хорошо...

Теперь Ирина, ответственная умница в розовом выцветшем платке, натиравшем нежную шейку, стояла в тамбуре между вагонами электрички. За окнами раскатывалась темная полоса леса, бледная полоса травы, синяя – неба. Цвета и формы менялись, они не могли остаться неподвижными, как на какой-нибудь картине. Ирина не успевала за ними, не могла их задержать. И обычно в этом всеобщем движении она всегда находила для себя успокоение и радость – приятно осознавать, что ты причастна к этой подвижности. Но сегодня это было мучение. Что происходит? Что происходит? – думала Ирина и вытягивалась в струнку, словно сейчас придет Ольга Пална снимать кассу.

Пришла, однако же, не Ольга Пална, перед которой Ирина неизменно робела, а Светка. Она разносила мороженое по вагонам. Светка достала шоколадный стаканчик и протянула Ирине. Ирина всегда любила мороженое. В детстве, случалось, даже крала его. Однажды ее поймали. Но мать отнеслась к факту воровства спокойно, точно

это ничуть не удивило ее, точно от своей дурнушки-дочери она только такого и ожидала. Ирину даже не пожурили. И вечером, запершись в кладовке, девочка рыдала, пеняя на родительское безразличие. Она вообразила, как убивает плюшевого равнодушного медведя, вселившегося в ее маму. В ярости она отверткой била в стену, а еще расколотила в кладовой некоторые хрупкие вещи. А потом заболела: она была очень ответственной и разрушения, произведенные собственными руками, оценила по самой высшей степени, приписав себе непростительную вину, окончательно определив, что любить-то ее и не за что. Мама была довольна. Папа вздыхал – он всегда вздыхал, когда дело касалось семейных проблем. А вообще, он редко бывал дома, все общение с дочерью сводил к тому, что гладил ее по голове. А потом надолго уезжал в командировку.

Стена ярости внутри Иринино сердца вырастала до небес. К шестнадцати девочка была заключена в свою пыльную крепкую башню. А к двадцати чувствовала себя не женщиной, а существом.

Ирина ела подтаявшее мороженое, выданное Светкой, и старалась не смотреть за окно, где все летело так причудливо и жизнерадостно. Но особенно она старалась не смотреть в вагон. По двум причинам. Во-первых, смотреть было ни к чему, она уже всех там оби-

летила. Дачники, едущие на этой электричке, были ей знакомы – она продала каждому уже не один билетик. В дачниках существовала особенная теплота, которая расслабляла Ирину. Их вечерние букеты, состоявшие из целлулоидных лилий и смазливых гладиолусов, из настойчивых упрямых астр, из тьмы трав, имеющих запах то льдистый холодный, то огненный, то водяной, тоже здоровались с Ириной. Этим букетам она продавала билеты, ими она любовалась. Цветы в букетах были неподвижны и прекрасны. Но сейчас разгоралось утро, а утром цветов никогда не бывало, по понятным причинам.

Во-вторых, она не смотрела в вагон, потому что сегодня кто-то смотрел на нее оттуда, из-за стекла, внимательно, как она по вечерам на цветы. И смотрел не как на умницу. Смотрел на ее розовую слабость. И слабость поддавалась, становилась еще слабее. И камни ее крепости выпадали, стена истончалась.

Ирина перешла в другой вагон. Но ощущение осталось. И оно тащилось за ней, как шлейф, как невиданной длины шарф. Примерно такой, который, думала Ирина, задушил несчастную танцовщицу.

На следующий день у нее случилось огорчение. Оно сначала расплстало ее по дивану, красный велюр которого пропитался девичьими слезами. Затем уронило в магазине – подкатило к ногам тележку, о которую она запнулась. Вечером выбило из рук пакет с молоком. Огорчили – туфли. Они оказались старые. Еще вчера они не были старыми, во всяком случае, не казались такими поношенными, такими стоптанными, и вот на тебе... И нет денег на новые, зарплата еще не скоро. И нет даже времени деньги найти, занять – и купить

новые туфли. Взять туфли у мамы? У них один размер. Мама скажет: на такие ноги такие туфли не подойдут – подразумевая, что ноги у Ирины, в отличие от ее, маминых, ног, крайне невыразительны. От стареющих маминых ног в сеточке жил, но с хорошими икрами и длинными бедрами. Ирина резко выдохнула и отправилась к маме за туфлями.

Мама в этот раз сказала следующее: у тебя такая бледная кожа, ты похожа на покойника, нужно больше спать. Ирина подумала: какая глупость, покойники как раз только и делают, что спят. Но возражать не стала. Пила чай под назойливое материнское бормотание и скоро, как в гипнотический сон, углубилась в воспоминания. Прошлой ночью она видела в дремотном тумане зонтики выросшего дичком укропа. Они летели вслед за поездом, как будто вагоны поезда это огурцы, которые следует засолить с укропом. Еще она видела осот, обрамляющий славное болотце, мимо которого ее электрички всегда неслись на полном ходу, не давая ничего рассмотреть. Убийца приставил осот к ее горлу, как зеленый гибкий нож. Розовая гвоздика намекала на то, что кровь Ирины жидка. Брутальный чертополох цеплялся за юбку. Ивы приглашали подойти к реке, в которую смотрелись. Река текла медленно, поблескивая песком, как золотой перхотью, гребешок воды вычесывал ее, разглаживал космы водорослей. Растения окружали Ирину, изгибались и сорили семенами. Это был кошмар.

– Только носи аккуратнее, а то ходишь как лунатик, обо все запинаешься, – наконец услышала Ирина и вышла из оцепенения.

Женщины как колбочки одуванчиков на длинных,

полупрозрачных стебельках: через день они распустились, через два облетели. Примерно так описала ей бухгалтер Ольга Пална, коренастая дама за пятьдесят, несчастную свою судьбу, когда Ирина предстала перед ней по неотложному делу – получить новый форменный платочек взамен выцветшего старого.

Ольга Пална была в подпитии, но собутыльница полчаса как покинула ее ради детей, а сама Ольга Пална материнскую заботу применить не могла, дети ее выросли и улетели. Было грустно, а тут Ирина попалась под руку.

Судорожная страсть, делающая зацепки на колготках, – примерно так описала Ольга Пална любовь, когда поднимала третью рюмку. Ирина в собутыльницы не годилась, но компанию составить могла, поэтому Ольга Пална велела ей усесться в соседнее кресло и слушать. Тусклая погода по привычке дождливого августа бросалась на чистое окно бухгалтерии, как дворовая шавка, спущенная вдруг с цепи. Ирина погладила бы эту тусклую погоду, почесала бы ее за ушами...

Ольга Пална, расправив крашенные белые волосики на висках, вдруг спросила:

– У тебя парень есть?

Электричка – место, куда люди попадают тогда, когда исчезают. Но потом они вновь появляются, потому что где-то выходят. Их путешествие длится недолго. Так думала ответить Ирина Ольге Палне, но засмушалась, покраснела, хотела встать и бежать.

– Нету?! – Ольга Пална развела руками, как в народном танце с беленьким платочком. И взялась за телефонную трубку. Ирина вскочила. Она на секунду подумала, что всесильная Ольга Пална сейчас вызовет какого-нибудь парня специально для нее. Но бухгал-

терша сурово проскрипела в трубку что-то по рабочему делу.

– Ну, по последней.

Налила – и вышла, перед тем замкнув на ключ колченогий сейф, выкрашенный в незапамятные времена паровозной краской. Оставила Ирину стоять. А платочек так и не выдала. Ирина проводила ее долгим взглядом, опрокинулась в удобное бухгалтерское кресло. Подумав, взяла хозяйскую рюмку и аккуратно выпила.

...В электричку люди попадают очень уж ненадолго. Может быть, пойти проводником на поезда дальнего следования?

Музыка леса состояла из дрожаний, колебаний и всего нереального, что чудилось ей за бортом электрички.

...Их путешествие длится недолго...

Запах креозота, как запах пряности, сдабривает километры яркой зелени. На станции «Огоньки» козы висают над нежной пушистой тропинкой, ведущей в детский лагерь. Ирина знает такую невысокую травку, ласкающую ступни, можно представить, что коричневая тайка делает массаж. Однажды Ирина испытала такое.

...Все рано или поздно уходят, их путешествие длится недолго...

Мамины туфли, которые та великодушно разрешила носить до самой зарплаты, слегка давили. Но они были новые и стильные: синие, с бантиком в горошек, с каблукочком – Ирина становилась выше, ноги ее – стройнее. К таким туфлям не шел только застиранный форменный платок. Раньше она бы себе такого не позволила, но теперь сорвала платок с шеи, вообразив вдруг, что он ее душит, и сунула в карман объемной сумки, соз-

дав беспорядок, посеяв панику среди бумаг, железнодорожных газет и квитанций. Теперь все в порядке.

Смена начиналась туманным утром, все еще спало, бодрствовали одни растения. Когда они вообще спят? – удивилась Ирина, сама с утра мягкая, как трава, которую объедали козы.

Первую электричку, идущую из города мимо сопок к огромному озеру, заполняли бодрые старухи, явно деревенские, да еще пожилые женщины умного вида, заходившие на станции «Академическая» – справа от станции лежит разморенный сном технический университет, слева – заспанный научный городок. Вообще-то Ирина училась в университете, чтобы получить прибыльную профессию архитектора – она ведь рисовала, но сегодня вдруг подумала, что вовсе и не хотела никакой архитектуры, что ей нравится ездить туда-сюда, почти не сходя на землю. Точно она моряк и под ногами у нее палуба электрички, которая рассекает закипающую пенную зелень. Она была бы не против продлить академический отпуск, который взяла из-за болезни отца. Но вот он умер, пора возвращаться. Только зачем? Ей больше нравится, ей спокойней в поезде.

Ирина пошла по вагонам, стрекоча кассовым аппаратом, цокая славными каблучками. День занимался, разгорался. Ирина шагала и шагала, стрекотала и стрекотала. Наконец день угасал.

Сумерки – время проветрившихся чистых людей. В девятом часу вечера в пятом вагоне, где сидячих мест уже не хватало, Ирина углядела пустое сиденье. Она отправилась туда выяснить, в чем дело, почему стоим, не садимся.

– Мокро – пожаловалась пожилая блондинка, сидевшая у окна. Ее щеки некрасиво отвисали по обе сторо-

ны яркого, но сморщенного рта. Была она молодежно загорелой, но казалась неприятно мягкой – похожей на старую закисшую грушу. Груша отодвинулась еще ближе к окну.

Сиденье действительно мокро поблескивало. И в этой части вагона сильно пахло спиртным.

На противоположном сиденье расположилась бабка в джинсовом комбинезоне, она держала сумку с флегматичным белобрсым котом. Кот доставал из сумки лапу и норовил царапнуть нависающий над ним бабкин подбородок. На подбородке росли редкие, но длинные волоски.

А рядом с бабкой приютился детина, плохо побритый, с ноутбуком на коленках, с наушниками на голове. Дегина пребывал в киноотключке. А может и нет, может, прикинулся только... У Ирины сразу возникли на этот счет сомнения. Она заметила, что между сиденьем и стенкой вагона спрятана белая высокая коробка, в каких продают вино.

– Мне нечем вытереть, у меня нет тряпки... – Ирина подумала о розовом платке, но удержалась, ведь другого платка ей пока не выдали.

Детина снял наушники и с любопытством уставился на нее. Затем, подумав, достал деньги, чтобы оплатить проезд.

– Я, кстати, студент. Мне положена скидка.

– Скидка дается студентам только при наличии студенческого билета, а также в урочное время, то есть с начала и до конца учебного года, а сейчас лето, – Ирина отчеканила, ни разу не запнулась, как учили.

– Это я разлил. Я бы вытер, но мне тоже нечем, – он сказал просто, а не задиристо, как она привыкла слышать. Осенью, зимой и весной в электричках ездят сту-

денты – горлопаны и пьяницы. А еще студентки – как правило, тихие, домашние. Громкие студентки, понимала Ирина, остаются в областном центре, в общежитиях, и у них там крутится жизнь. Тихих же электричка увозила к матерям на близлежащие станции, чтобы не более полутора часов на дороге. А в основном, конечно, ездят парни.

– А вы сами студентка? Работаете от института железнодорожного транспорта? Раньше студентов всегда привлекали. Я сам проводником ездил. – Детина смотрел спокойно, но заинтересованно.

Ирина хотела было быстро ответить «нет» и уйти по своим делам. За их разговором наблюдали блондинка-груша, бородатая бабка, и даже кот выкатил свои прозрачные глаза. Тут неожиданно для самой себя Ирина приняла решение: достала из сумки железнодорожную газету, потом еще одну (раньше бы никогда так не сделала – уважала печатное слово и железнодорожный транспорт) и сложила на мокрое место. Старая блондинка прижала газету к сиденью, провела по ней пальцем – не мажется ли типографская краска. Тогда Ирина, снова неожиданно – и для себя, и для пассажиров – уселась на газету. Уселась и вытянулась в струнку. Ноги поставила ровно, коленка к коленке, туфелька к туфельке.

– Нет, мы сторонняя организация, – говорила она так же ровно и аккуратно, как сидела. В ней бродили какие-то другие слова, она их почувствовала, но до конца не различила.

– Просто я знаю, что раньше так было... – Детина, оказавшийся напротив, наклонился ближе. Уши его просвечивали, электричка бежала от солнца.

– Нет, я про это ничего не знаю.

– А вы...

– Не знаю...

Детина переменял тему:

– Дайте, пожалуйста, ручку. Есть у вас ручка? А то у меня нету.

Ирина отыскала в сумке ручку.

– А листочек есть? А то у меня тоже нету, но очень надо.

Ирина отыскала и листочек.

Детина что-то написал на нем и протянул Ирине. И все смотрел прямо на нее.

– И ручка, вот...

Ирина спрятала в сумку ручку, а также листочек, лишь мимолетно взглянув.

Груша, бабка и кот переглянулись. Им, поняла Ирина, страшно интересно. Напряжение возрастало. Кажалось, любопытствующие сейчас отберут у нее сумку, достанут оттуда записку и прочтут. Она окинула пассажиров строгим взглядом, и самым строгим – автора записки.

После того как случилась очередная остановка, она встала и перешла в другой вагон.

Записку Ирина прочитала дома, скинув красивые туфли и взобравшись с ногами на красный диван.

Весь вечер до самого сна ее посещали негромкие мысли, бродили, словно перегорало молодое вино. Например, что юбку не мешало бы слегка укоротить, потому что длина до колена вообще мало кому идет. Ниже все равно не опустишь, а если укоротить, то и туфли будут выигрышной смотреться. Или же крутилась мысль об Ольге Палне – счастлива она или несчастна? А она, Ирина, счастлива? Да. Несчастлива? Да. Ее мечты о ма-

леньком человеческом счастье – спокойствии и достатке (мама называла это «достоинством»), с которыми она втайне таскалась, как с маленьким, драным, но любимым бисерным кошелечком, вдруг перестали отзываться в сердце. Тук-тук. Что-то другое туда постучало, но тотчас исчезло, как пугливый дятел.

В записке был номер телефона и еще «Дима».

Детина Дима с розовыми ушами снился ей ночью.

Юбку Ирина отнесла в ателье и немного укоротила.

...Маленькие мечты.

Садоводы вышли из рая. Но за пределами рая – темный лес.

В темном лесу спрятана темная тайна. В сумерках деревьев и травы переплетаются немислимим образом и кажутся крапивной пряжей, из которой Элиза сплела братьям рубашки. А тот, кому она не успела доплести, скрывается за деревьями в чаще. Он одичал, им правят побуждения иного порядка. Он уже и не человек. Ирина сидит в башне и боится. В электричке спокойно, пахнет помидорами.

Ирина приткнулась за спиной напарницы Светки и, подремав немного, заплутав в своих видениях, совсем отключилась. Плавала в красных сумерках, которые они догнали, качалась, как в матке, качалась туда-сюда. Уронила сумку Светке на ногу. Тянула свой сон, как нитку.

Светка тычет в бок: проехали «Медвежий».

А нитка тянется. И снится, что сумерки занимаются любовью с электричкой, которая напоминает огромный фаллос. (УБРАЛА)

В электричке укачивает, младенцев так укачивает в утробе. Это движение, но это и не-движение: По рель-

сам туда-сюда. Вернуть матери туфли и купить свои. Вернуть туфли... Вернуть... Вернуть...

Светка тычет пальцем в бок: просыпайся. Сегодня они – пассажиры. Но билетов им никто не продает, потому что они работники дороги. А Ирине хотелось бы купить билетик. Хотелось бы... Хотелось бы билетик... Она окончательно просыпается.

Суровая Ольга Пална, которая в спортивном костюме напоминает квадрат, и еще одна бухгалтерша по имени Варя робко сползают с трапа электрички. Светка соскакивает на землю, как бешеный кузнечик, у нее при этом ужасно хищное лицо. А у Вари слишком толстая попа и она колыхается. Ольга Пална с достоинством несет свое испитое, в складочках, в ямках лицо. Она на похожа на инопланетянина. Ирина провожает взглядом электричку. Ей не по себе. День серый, два предыдущих дня шли дожди, и сейчас тучи собрались над компанией женщин и набухают, как огромные серые груди. Варя, сама мягкая, как туча, повела их в лес.

Тайга ругалась. Сильно гудела. По глоткам распадков спускались дожди, проваливаясь внизу во мхи. Колыхались тяжелые орляки. Над взгорками взлетала их мелкая поросль.

Трава замутилась, слепилась в кудри. Соседняя сопка торчала зеленым бараном.

Змей хребта полз, сверкая желтыми и зелеными пятнами.

Метались на своих ниточках сбитые пауки, отчего лес казался цирком, полным чокнутых акробатов.

Муравьи приносили тяжести в пирамиду муравейника.

Женщины пришли в мир, полный движения. Вста-

ли грубыми сапогами посреди нежных хвощей. Хвощи щупали резину зелеными косточками и перескрипывались. Гусеница ползла исследовать легшее на бок ведро.

Грибы принимали последнее сражение. Ирина садилась на корточки – и они отважно щурились из-под шляпок.

Непредсказуемость природы, ее закономерные случайности враждебны человеческой целостности. Если ничего нельзя удержать, то за счет чего сам ты можешь быть кем-то? Как остановить себя, состоящего из мириад клеток, в каждой из которых что-то происходит? Ирина чувствовала, что разваливается, распадается на отдельные клеточки и они убегают, прячутся под листьями и в траве. Грибы, как лесные бунтари, как партизаны, встают на их защиту, помогают сбежать, скрыться.

А ведь когда-то две клетки столкнулись на бегу – и получилось ее тело, ровное, спокойное, равнодушное. Почему равнодушное? Разве – равнодушное? Оно отзывалось на ласку, когда к нему прикасались, но никогда не просило этой ласки, не искало ее, а пряталось в переулочках. Оно привыкло ждать. Даже когда и ждать было особенно нечего, оно ожидало. Но кто придет, если тело ждет тихо, про себя? И кто придет, какая случайность, если оно неподвижно? Лишь однажды Ирина получила того мужчину, которого хотела, все остальные случались – именно случались, залетая в тот переулок, где возвышалась ее пламенная и пыльная башня. Фильм ее жизни проносился в голове, крутился с пояснениями и титрами. Покачивались хвощи, изумленно скрипели. Грибы солдатиками, надвинув шляпки, торчали перед киноэкраном, на котором мелькала ее жизнь. Смотрели, удивлялись, на-

верное. Какая же, думали, наверное, чепуха и никчемность...

Наконец явилась Светка с ножом и корсарским оскалом на остром лице и победила грибы. Ирина поднялась. Голова ее закружилась. Сердце билось и кусалось.

Она решила немедленно позвонить. Только иногда ее решимость бывала такой полной, как сейчас. Черный ров перед ее башней, сама башня становились как бы не настоящими, а нарисованными. Она, похоже, в картинной галерее стояла и высматривала приемы искусства. Спокойствие вдруг явилось ниоткуда и нипочему. Благодаря этому она принимала все свои самые важные решения. Например, однажды такая спокойная решимость подсказала ей устроиться на железную дорогу, потом съехать от матери. И сейчас, и сейчас...

Телефон – как холодный компресс к уху. Гудок, другой гудок. Сеть пропала – тайга, темный лес. Ладно, потом. Но что она скажет? Что сказать-то? Что обычно в таких случаях говорят? Порепетируем...

Ирина сказала Светке, что пойдет вглубь и направо, а потом аукнет. Светка махнула головой и ускакала на своих кобылястых ногах, скрылась в пестроте леса.

Дмитрий это Ирина в электричке вы попросили у меня бумагу ручку записали свой телефон я не поняла зачем... вот звоню спросить зачем мне интересно зачем зачем зачем.

Привет у тебя лицо такое строгое я понял что свой номер ты не дашь поэтому оставил себе шанс надеялся что тебе будет интересно почему я такой нахал и ты позвонишь видишь не ошибся женщины всегда попадают на любопытстве

.....

Ты почему молчишь не обижайся шучу где ты сейчас
 давай увидимся я уже не надеялся неделя прошла где
 ты давай увидимся где ты где ты

В лесу меня взяли за грибами мы в лесу где-то в лесу
 вышли на станции и где-то в лесу

На какой станции

На станции «Источник»

Останетесь или вернетесь

Вернемся вечером мне пора мне пора уже пора

Подожди подожди эй подожди минутку эй...

– Ау! Ау! Ирина! – Светка где-то надрывает узкое
 свое горло.

Потому что Варя-туча кликала общий сбор, потому
 что начинался дождь, женщины потекли обратно.
 Осень подкрадывалась, целовала ноги. Ирина не разли-
 чала ничего, даже времени. По дороге она срезала еще
 несколько грибов – но только чтобы отстать от компа-
 нии, подумать в одиночестве.

В электричке она думала: женщины, ждущие счастья
 в будущем, остаются несчастны. Вот почему женщины
 всегда несчастны. Все как одна ждут счастья в будущем.
 А что у них в будущем?

Электричка тосковала, выбивая привычный ритм.
 Ирина ехала мимо дождя, который гас в море деревь-
 ев. Сказали, надо ждать. Оно, счастье, придет. Может
 быть, это уже оно? Или не оно? Не у кого спросить, они
 не знают. Ирина с жалостью посмотрела на Ольгу Пал-
 ну -- та разместила свой безжизненный взор в одной
 точке. Варя, как чудовищная подушка, на которой кто-
 то забыл голову, покоилась напротив. Варя хочет поху-
 деть, ее муж сбежал. У Светки есть дочь и муж. Мужа
 она унижает. Ей кажется, что она достойна кого-то по-

лучше. Но даже начальник поезда кажется ей не сильно лучше, на нее не угодишь. Матери позвонить?

Мать однажды вешалась. Мать думала, что Ирина не знает, но она знала. Мать вешалась от разочарования: отец уходил, хоть скоро и вернулся. А лучше бы не возвращался. А то мать всю жизнь как будто вешалась – казнила окружающее страшными казнями: людей казнила, обстоятельства и даже вещи. Она так никогда не успокоилась, хотя казалась спокойной. Мать не умела прощать. Она, глядя за обедом на них обоих, на Ирину и ее отца, отчетливо так, словно Ирину поучала, но на самом деле уязвляла отца, говорила: ими надо уметь пользоваться, мужчины ни на что больше не годны. Она так говорила ему до самого конца, пока он не умер. Мать мстительна. Нет, ей звонить бесполезно. Еще заведется, Ирина тоже станет кричать, Иринина башня станет только выше.

Речной бог с телом быка и лицом человека привиделся ей в окне. Он промелькнул среди равнодушных ив, трясущих неистовыми волосам. Она узнала его. Он пообещал ей волшебный рог в обмен: если она вернет ему его настоящий облик.

Дома, нажарив грибов с картошкой, она уселась за крошечный стол, где места было на одного. В окне ночь вывесила свой черный гобелен, который весь был дырявым, просвечивал обратным светом. Ирина помахала ночи вилкой. А после ужина решила снова позвонить.

Больше она в тот день никому не звонила. И на следующий тоже. И на телефонные звонки не отвечала. Телефончик раскалялся, дергался в истерике, скатившись на пол. А когда потерял заряд, то замолчал.

К ней приходил речной бог, приносил на спине охапки травы, пахнувшей густо, но тускло. Иногда – розовые охапки непонятно чего, пахнувшие остро, возбуждающе. Она хотела обнять его, но маячило над ней лишь его лицо, дальше была сияющая белизна и она не знала, как ее ухватить. Поэтому смиренно лежала, вытянув руки, демонстрируя покорность.

Речной бог говорил ей разные вещи. Он говорит: ты не башня, ты река. Он обещал многое, но больше не предлагал обмена, как будто бы он уже был совершен. Он велел ей быть сахаром в горьком мире, хлебом в мире голодных, песней в мире темноты. Тогда потерявшиеся увидят тебя, они пойдут за тобой и выживут. Дом их расцветет огнями. Прожорливая темнота выплюнет проглоченное, и произойдет творение.

В процессе творения нет того, кто главнее, говорил он. Как нельзя сказать, что главнее – чернила, бумага или рука, взявшая то и другое. Творение – это, по большому счету, возможность. И только-то? – не соглашалась Ирина. И только-то, – отвечал ей бог. Вообрази, как твое желание исполняется, – и оно исполнится. Природа возможности – это твоя природа. Зайди в лес.

Его слова были удивительны. Кузнечики подхватывали: зайди, зайди в лес. Стрекотали сороки, приглашая. Комната покрывалась подвижным золотым песком, он переливался, обнаруживая, когда откатывался мутный воздух, ослепительные самородки. Ирина тянула к ним руки, но они исчезали. И все шептало: вообрази, ибо свет происходит там, где материя на пределе.

И скоро она поддалась уговорам. Ей не нужна была защита, и она разделась. Она вошла под ивовый по-

кров, перешла вброд реку, сбивающую с ног. Дальше тропинка вела ее. Она привела ее к мужчине, лица которого она не разглядела, потому что сразу же закрыла глаза, чтобы стать творящей темнотой, чтобы стать бумагой, на которой напишут слово. Она слышала его голос. Вода похожа на кровь в наших жилах, но давно не кровь, поющая и говорящая, а сумрак лет, – сказал мужчина, прежде чем прикоснуться к ней и уронить на землю. И она его узнала – как узнала бы за тысячу лет до этого. Вокруг образовалась тишина. Они вошли в тишину и плавно двигались вместе. Все остановилось и следило за движениями сияющей плоти.

Потом они мчались в электричке. И она покупала билет. Из глаз ее текли слезы счастья, и лица мужчины она никак не могла разглядеть. Зачем тебе его лицо? – напевал откуда-то из глубины речной бог, возвратив ее обратно: все равно победит природа, ибо ее стремление к жизни безотносительно.

Когда бог ушел, Ирина открыла глаза.

Мать моргала выцветшими старыми глазами.

– Отравление, – сказала она.

– Грибы твои мы выбросили, – пробасила Варя. В бухгалтерии она сидела на обычном деревянном стуле без подлокотников, в удобные бухгалтерские кресла просто не входила.

– Поела грибочков! – смеялась Светка, тыкая в Ирину большим сиротливым взглядом. От нее ушел начальник поезда, которого она не ценила.

Ольга Пална достала из стола коробочку и выдала всем новые форменные платочки. Ирина взяла свой, сунула в карман и отправилась работать.

Солнце успокоилось и уснуло часу в девятом. Электричка ползла тихо, чтобы его не разбудить. День был слишком солнечным, и к вечеру все от этого устали. Ирина пошла в пятый вагон, уселась и ехала вместе с пассажирами. Народу немного. Можно проходить по вагонам раз в три остановки.

На станции «Академическая» она засунула ноги глубже в туфли – купила себе бордовые с маленькими черными цветками, – встала и зажужжала кассовым аппаратом. Было непривычно: новые туфли, юбка немного выше колена, коротко остриженные волосы, вверху легко, внизу свободно. Она верила этому прозрачному, глубокому ощущению – зеркалу в себе. И не верила больше ничему, что по своей слабости отражало лишь слабость другого. Мать ужаснулась ее новой прическе – обстригла красоту! кому ты теперь нужна без красоты! Но Ирина только рассмеялась. Разве ее мать – это мать ее души?

На площадке между вагонами Ирина задержалась, чтобы без свидетелей посмотреть в окно. О чем рассказывал ей речной бог, отец сирен-обманщиц? Он сказал ей, что солнце – это событие, с другой стороны которого черная дыра. И поэтому люди могут не встречаться по тысяче лет, а потом встретиться.

Хлопнула дверь.

– Второй месяц езжу, ищу тебя. Ты вроде звонила. А потом пропала.

Тысяча лет – недолгий срок.

– Думал, может, телефон потеряла.

Тысяча лет – совсем немного, если правильно посмотреть.

– Думал, может, уволилась.

Тысяча лет – сущая ерунда.

– Сойдем на последней станции, – попросила она. Все ее существо было теперь женщиной, которая знала о себе и больше не прятала своих желаний. Ее башня рассыпалась.

Он пожал плечами, мол, как скажешь, и они сели в пятом вагоне друг напротив друга. Ирина взялась хорошенько его разглядеть, потому что вспомнила – потом, сквозь слезы счастья не сможет этого сделать.

Хлопали двери. Входили и выходили пассажиры: фараоны, цеховые, голуби Сан-Марко, бабы в платках по брови. Кто-то открыл форточку, ветер сказал: проглочу-у-у-у. Упала в вагон луна и покатилась, как оловянная тарелка. Она же плоская! – удивилась Ирина. Ее спутник рассмеялся, подхватил озорницу и забросил обратно на небо. «Конечная станция “Слюдянка”», – сказал воздух голосом Светки. На этой станции большой вокзал, за вокзалом бескрайнее озеро, сбоку лес. Если перейти железнодорожные пути, миновать пятиэтажки, идти мимо лугов, то напрямик выйдешь на мраморный карьер, на белые отвалы посреди тайги. А оттуда по мраморной дороге минуешь последнюю ЛЭП – и в горы, по хребту, дальше и дальше...

Всё, что было, потекло на выход. Вытекало в раскрытую темноту, пропадало в ней. На мгновение Ирину сковало сомнение – как в таком хаосе сможет она контролировать мириады клеток, составляющие ее целое? Сомнение рассеялось, когда он взял ее за руку. От прикосновения все эти мириады клеток одновременно обратились в почву сладкого переживания.

И, вот, только они двое стоят в пузыре тишины, никого больше не осталось, но электричка не закрывает дверей.

Наконец он выпадает в темноту и оттуда протягива-

ет Ирине руку, будто утопающий просит помощи. Ирина оставляет в вагоне служебную сумку, удостоверение и кассовую машинку, присваивая себе лишь новый платок. Она воображает себя рекой, несущей золотой песок, и выплескивается наружу.

Оля Хныкина
и
Дракула



Чашки фонарей медленно наливались светом. Свет скупо капал вниз, неохотно растекался, увлекаемый слабым ветром. Оля припозднилась, разделяваясь с последним подростком, и теперь сильно нервничала, набирала скорость. Она не любила ходить по темноте. Такую нелюбовь сообщает неистребимое чувство жертвы: ночью из-за каждого куста чудится злоумышляющая энергия, которая, воплощаясь то в одном, то в другом образе, ищет случая укусить тебя, прохожего, за пятку, или еще что похуже.

Последний подросток – вредная толстая девочка с розовыми волосами – весь вечер ругалась, язвила, пыхтела и смотрела исподлбья, как питекантроп. Оля хотела кинуть в нее стаканом, что было невозможно. Поэтому — только помышляла: с удовольствием и подробно воображала, как стакан разбивается о девичью голову, течет кровь, лопаются от удара глупые кости розовой головы. Девочка падает, корчится и рыдает, она унижена – ровно настолько, насколько Оля сама была унижаема и оскорбляема ею. Она отмеряла дозу унижения до капли точно, соблюдая и восстанавливая справедливость.

Мама девочки, черно-белая дама, как обычно, сидела в узком коридоре, уставясь в стену напротив, и казалась большим, но несложным роботом. После сеанса розовая девочка вывалилась из Олиного кабинета прямо на колени родительницы, которая проскрипела что-то (Оля не поняла ни слова), и они потащились вниз

по лестнице: большой робот и его вихляющаяся свинка масти бубль гум.

Коридоры психологического центра, где Оля, будучи дипломированным психологом, оказывала помощь нервным детям и депрессивным родителям, подавляли ее саму казенной серостью, даже тишина здесь вечером стояла какая-то сероватая. Глядя в спину юной пациентке, Оля задавала себе – в сто пятьдесят девятый китайский раз – один-единственный вопрос: что я делаю здесь?

А ведь поначалу ей мнилось, что она должна найти для них дорогу в ситуации индивидуального кошмара, который у каждого созрел и родился, как Афина появилась из недр Зевесовой головы – жесткая, в полном боевом облачении. Оля поначалу романтически воображала себя следопытом, проводником, ведущим заблудившихся по кругам ада в рай психического здоровья. Скоро, однако же, убедилась, что порой трудно осознать, где находишься – еще в аду или уже в раю. Спустя время она убедилась, что и сама, пожалуй, зависла где-то, и демоны подкрадываются к ней, прижигают уже пятки, пугают из-за угла. А ведь ее пациенты – в общем-то нормальные люди – ну, в смысле, без радикальных отклонений. Так, с истериками, зависимостями и депрессиями — всего-то.

Но и этого с лихвой хватало, чтобы время от времени зажигать в Олиной душе костер мизантропической ненависти. Он быстро утихал. Но долго еще оставался теплым, раз к разу тлел все дольше и дольше. Оля, заметив, что сама становится неумеренно нервной и конкретно злой, старалась оставить между собой и пациентом нейтральную полосу.

— Надо чтобы чужие бесы на тебя не перепрыгива-

ли, защитную стену поставь, — как раз поучали старшие коллеги.

— Ну что ты с пациентами так возишься? Поговорила – и отпусти, — фыркала, как раздраженная лошадь, Марина Сергеевна, заведующая.

— Чего ты упираешься, как голливудский психоаналитик? Тебе сколько платят, чтобы ты так упиралась? – недоумевали высокооплачиваемые тетки из соседнего салона красоты, где для женщин, кроме шоколадных обертываний и маникюра, была еще и психслужба – на кабинете так и написано: «Психслужба для милых дам».

— Не в дурдоме работаешь. Расслабься, – говорила однокурсница-приятельница, которая как раз работала в дурдоме. Она ела маленькие желтенькие таблетки – чтобы расслабиться.

«Живите легче...», — советовали женские журналы. «Не берите в голову», — говорил с телеэкрана губернатор...

Оля сделала правильные выводы и перестала обращать внимание на пациентов. Она просто принимала их – и отпускала, принимала и отпускала, здарсьте и до свидания, здарсьте и до свидания. Так-то.

* * *

Проводив свинку бубль гум, Оля постучала в кабинет заведующей, она хотела отпроситься на пару дней в счет отпуска, чувствуя всепоглощающую усталость. Она устала от казенных коридоров — видеть каждый день офисное убожество невыносимо, даже комнатные растения здесь гибнут, скорее всего, от скуки. Устала и от равномерного потока пациентов, которые с некоторых пор казались ей одинаковыми, ровными, как теннисные мя-

чики. Ну их совсем! А еще бывает, попадетсЯ какой-нибудь бракованный мячик, нестандартный – и что с ним делать? Что делают с нестандартными теннисными мячиками?.. В этом случае Оля откашливалась и говорила: «Мне не остается ничего другого, как предложить вам медикаментозное лечение». И давала телефон однокурсницы, той самой, с желтыми таблетками.

Еще Оля устала от заведующей Марины Сергеевны, которая лезла в Олину практику своими тощими лапками. В том смысле лезла, что навешивала на нее еще и своих «дебилов» — Марина Сергеевна в выражениях не стеснялась. Не постеснялась и сейчас.

— Ольга, ты, мать твою, обнаглела, — сказала она, зажигая сигарету. Заведующая курила что-то дамское, но чрезвычайно вонючее. В здании было запрещено курить, но Марина Сергеевна дымилА, как чертов до-революционный паровоз. Оля стояла в дыму и думала о демонах. Она ничего не отвечала на грозный выпад начальницы.

— Ольга, ты обнаглела! — повысила голос Марина Сергеевна, которой Олино молчание не понравилось. Но вдруг еще уволится, кого на такую зарплату найдешь? И Марина Сергеевна снизила градус, заговорила мягко:

— Пошли всех куда подальше, на выходных поезжай, покатайся на лыжах, парня смени, наконец. Но работай, Оля, работай, как положено, с отпуском подожди. Я не могу работать за вас всех. Одна в декрете, другая – собирается, третья выходит замуж, и ты еще со своей ерундой!

И, не сдержавшись, почти завизжала:

— Оля, ты же хорошая девочка, принимай пациентов! Твоя карьера от этого зависит!

Речь Марины Сергеевны, по существу бессодержательная, но экспрессивная, подействовала на Олю. Она вышла, хлопнув дверью. Больше всего ее разозлили последние слова: что эта страшная лошадь имела в виду, говоря о карьере? Намекала на прибавку к зарплате — как в прошлый раз, на какой-то мизерный мизер?..

А Марина Сергеевна, оскорбленная в лучших чувствах — а эти были у нее самые лучшие, она и вправду вдруг подумала, не прибавить ли Ольге рублей двести, — что-то пролаяла вслед и выпустила струю дыма, все затемнившую сероватый коридор.

...Немудрено, что утром Оля проснулась и обнаружила: она не та, что была вечером.

* * *

Утром Оля обнаружила в себе какие-то изменения. Она не могла понять, что с ней. То ли ночнушка жмет, то ли кровать стала ей узка, то ли спина чешется где-то в районе лопаток. Во рту у нее пересохло, а длинные волосы сбились возмутительным колтуном.

Сползши с кровати, на второй половине которой кто-то выразительно храпел, она оборотилась к зеркалу, которое вытянулось во всю стену — и подтвердила для себя первое впечатление: что-то не то. Рассматривала себя справа и слева, спереди и сзади, для чего принесла еще одно зеркало поменьше — но ничего особенного не могла найти, одно только чувство.

Тогда стала она рассматривать себя еще подробнее, а для этого принесла зеркало с увеличением, в какое тщательные женщины смотрятся, нанося на лицо боевой макияж. Осмотрела пшеничные широкие брови, которые, по ее мнению, занимали слишком много места на лбу, отметила пару морщинок в уголках губ, пора-

довалась гибкой, без изъяна, розоватой шее. Опустила глаза – и тут заметила между шеей и правым плечом странный знак, две крохотные дырочки. И ей пришло в голову единственное объяснение, которое могло придти в таком красноречивом случае. «Меня укусил вампир!» — подумала Оля. И шепотом, чтобы не разбудить спящего, закричала.

Потом она долго плакала, стоя в душевой кабине. Она плакала о своей пропащей жизни, о том, что и половина ее мечт не сбылась, а первая треть жизни уже погублена на ненавистной работе, отдана задаром, за крошечную зарплату, розовым свинкам, их черно-белым мамашам, паровозу Марине Сергеевне. И вот теперь, в довершение этого, ее укусил вампир! А где же счастье?! Где оно, я вас спрашиваю?!

Оля вышла из кабины и встала перед любимым зеркалом — в ванной комнате, отерев его, запотевшее, махровым полотенцем в страстную розочку. Вообще-то хороша, что и говорить. Все при ней. Школьницей Оля мечтала о поприще актрисы или хотя бы манекенщицы. Ходила бы, правильно переставляя худые ноги, на лучших подиумах мира, примеряла бы лучшие в мире платья. Но чуть повзрослев, сообразила, что таких, как она, худоногих много и лучше бы выбрать что посерьезнее. В тот период Оля увлекалась фильмами о психиатрах, и когда закончились выпускные экзамены, подала документы в медицинский, но не прошла. А прошла в педагогический на психолога. И влачила теперь жизнь психолога-консультанта городского центра одноименной помощи. Господи, что за город! Одни психологические мутанты! – так Оля думала, оканчивая каждый рабочий день.

Мутанты плакали в углу ее кабинетика, поливая слезами большой хищный кактус, высаженный Олей в

широкую банку из-под краски. Или бранились не хуже сумасшедшего соседа дяди Пети, который раньше ремонтировал обувь, а теперь ему по весне и по осени ремонтировали голову: дядя Петя выходил на балкон голый и заливался проклятиями в адрес мирового правительства, которым управляют рептилоиды и жидомасоны. Оля и сама временами, анализируя содержимое телепередач, склонялась к тем же выводам, что и дядя Петя — но молчала, голой на балкон не выходила, а тихо, в теплой компании своих неуравновешенных коллег ругала местных чиновников козлами. Коллеги подбадривали ее, тоже ругали всех козлами, но не только чиновников, и особенно – мужчин как таковых. Оля не разделяла такой увлеченности насчет мужчин, против которых она ничего не имела, но ей приходилось тихонько подвывать своей стае. Ведь мужчины были главными врагами работников центра психологической помощи, который сплошь состоял из женщин. Марина Сергеевна, когда расходилась подобно грозовой туче, взбивала обеими руками свою сероватую, в тон казенным стенам, прическу и выразительно посылала и депутатов, и мэра, и бизнесменов, и священников и, отдельно, своего бывшего мужа — и принималась курить как-то особенно дымно.

Да и почти все взрослые пациенты психологического центра были также женщины. В основном они обижались на мужчин и не понимали, как им с этой обидой жить, если все равно хочется семейного счастья, детей, да и просто секса. Оля брезгливо рассматривала их всех, считала скучными, депрессивными дурами и совершенно не собиралась вникать в их идиотские проблемы. Пусть поливают своими пустыми слезами злой, колючий кактус – злорадствовала она, наблюдая,

как очередная тетка прокликает в ее кабинете самого господ бога как главного мужчину вселенной. Злорадствовала, но виду, конечно, не подавала.

Оля любила мужчин. И они ее тоже, в общем, любили. Но своего счастья Оля, хотя и жила уже некоторое время с парнем Иваном Николаевичем, завкафедрой в географическом институте, еще не нашла. Она не отчаивалась. Жить с Иваном Николаевичем было необременительно, он много не просил. Поэтому Оля держала его как спокойную комнатную собачку, которая в углы не гадит, мебель не дерет. В глубине души она понимала, что поведение ее подлое и неправильное, что мужчина не собачка и что она попросту обманывает его терпеливые надежды. Пару раз она предпринимала попытки сбежать, но Иван Николаевич оказался цепким парнем, держался крепко. Мама его, одинокая и твердая как камень училка-математичка, наставляла бородатого отпрыска: «Любимую нужно постараться удержать...» Отпрыск старался. Оля училку побаивалась — и, хотя чувствовала себя тупым тренажером для странных упражнений в удержании, незаметно для себя с таким положением вещей почти смирилась. Иван Николаевич в этой ситуации уже казался ей тем самым меньшим злом. Тем более что ее собственная мама, умотанный работой доктор-терапевт районной поликлиники, неустанно требовала внуков. «Господи-боже, зачем они ей?!» — недоумевала Оля, детство которой прошло исключительно в обществе отца, человека домашнего. Но и он однажды выдохся и свинтил от них к менее занятой женщине.

Иван Николаевич как раз проснулся, покинул кровать и явился в ванную пред очи голой и рыдающей Ольги.

— Меня укусил вампир, – сообщила она ему сквозь рыдания.

— Ну что ж, поздравляю, отныне ты бессмертна, — промямлил Иван Николаевич сонным языком. В научной среде он считался остроумным.

* * *

На работе Ольга выпила кофе и принялась за пациентов. Сегодня более чем когда-либо их истории не доходили до ее сердца, шли мимо своими витиеватыми дорожками. Блуждали — и некому было хотя бы успокоить несчастных, приободрить, пообещать, что выход есть. Оля все думала об аккуратных дырочках на своей шейке и о том, что Иван Николаевич, скорее всего, прав — отныне она бессмертна. Бессмертна в самом расцвете своих женских сил.

Пришкандыбала на огромных каблуках черно-белая дама со своей розовой дочкой. Но и они не вызвали обычного приступа мизантропии — Оля, не отвлекаясь, думала о симпатичных проколах на своей белоснежной вые.

Марина Сергеевна кружилась по коридорам, как серая смерть, сегодня она была особенно не в духе. Но и ее кружение не пробудило в Ольге обычной тягучей безнадежности, ибо следы зубов на шее сладко горели.

В обед Оля проглотила овощную котлету и тушеную морковь в вегетарианском индийском кафе, но не почувствовала обычного резкого и пьянящего пряного запаха — вообще ничего не почувствовала, кроме голода, который разгорался внутри нее. Удивилась, усмехнулась. Утерла рот красной салфеткой и побежала в каком-то воздушном настроении прочь, на улицу. На выходе поскользнулась и почти упала, но схватилась за черную решетку, устояла, улыбнулась. Хотела отказать-

ся от вечернего похода в бар с коллегами Танюшей и Лизой, ждала с замиранием сердца наступления ночи.

Однако ночь задерживалась. В том смысле, что чем отчаянней ждешь, тем дольше ждешь. Поэтому, поторапливая ночь, в бар Оля все же пошла. Девушки взгромозились за длинную барную стойку, выпили, поныли от души, разошлись в своих жалобах, как реки в половодье, грозились затопить охами все помещение. Танюша размахивала длинными руками и попала по носу мужчине, что примостился по соседству. Лиза разбила чужую тарелку с сухариками. Тогда бармен, которому надоел беспорядок в хозяйстве, попросил их пересесть за столик. Лиза фыркнула, а Танюша с возмущением потребовала администратора, который, впрочем, незамедлительно явился и убедил девиц переместиться за дальний столик, в самый угол зала. В качестве компенсации за неудобство (а скорее в слабой надежде отрезвить) им принесли три кружки хорошего, ядреного кофе. Но реки уже основательно вышли из берегов.

— Это что за дрянь?! – заорала Танюша. Но Оля, приметив, что к ним движутся двое, и один из них охранник, быстро прикрыла Танюшин красный рот ладонью. Звук скомкался, упал, потух. Лиза сделала успокоительный жест охраннику. Мужчины повисели минутку посередине зала и отправились в обратный путь. Но официанты в черных фартуках всё же посматривали в женский угол болезненно, понимая, что пьяного дебошира можно выкинуть вон, прямо на грязную мостовую, а на пьяную женскую истерику средства у них нет. Чертов гендер! – думал бармен, плавая за своей стойкой туда-обратно.

А Оля в этот вечер на все смотрела мечтательно. Даже когда закрывала Танюшину пасть ладошкой, она

переплетала в голове разнообразные приятные фантазии. Вокруг нее стояла тишина, несмотря на галдеж подружек и на громкую дурацкую музыку. Она видела, как сквозняк шевелит тяжелую портьеру. Чувяла сентиментальный запах догорающего мартовского снега.

— Влюбилась, что ли? – прямо спросила Лиза. Лизина прямота полностью соответствовала ее доскообразной комплекции.

— Да нет. Пока, — скокетничала Оля. Этот вопрос ее неожиданно разволновал, она зарделась.

— Ага, значит, да! — собутыльницы напали на Олю с расспросами. Она бы и рада подтвердить, да не знала, что рассказать в подтверждение. Возвышенное настроение, похожее на парящий в небесах тугой воздушный шарик, от этого немного сдулось. А потом она сообразила, что если бы и было что рассказать, она бы не стала – обстоятельства очень уж пикантные. И, как это часто бывает, большое вдохновение, навалившееся вдруг на непривычного к нему человека, грозило, не разделенное ни с кем, превратиться в отчаяние. Груз радости порой готов раздавить нас так же, как и груз горя, и еще неизвестно, что тяжелее. И вот Оля уже вступила в эту смутную долину, над которой небеса так ненадежны. Она уже приготовила руки, на которые должен лечь страшный бетонный блок, замешанный на ее самых радостных надеждах... Но тут щелкнуло.

* * *

Телефон подарил Оле сообщение: «Здравствуй, любовь моя. Увидимся?». Олины глаза расширились, рот приоткрылся. Долина отчаяния покрылась гладиолусами, тучи разбежались. Оля оглядела подружек. Танюша от любопытства на месте не могла усидеть. Лиза от

нетерпения стучала вилкой по тарелке. Оля отобрала вилку, велела Танюше сидеть смирно — и принялась врать.

Она врала приятельницам, подбадриваясь этой коротенькой телефонной запиской. Никто теперь не мог усомниться в том, что у нее появился отчаянный, на все готовый поклонник. Танюша прочитала сообщение три раза, и от зависти ей почти стало плохо, замутило, затошнило. В мечтах трех девушек пишущий был статный высокий красавец, готовый положить на алтарь любви все, что имел, а также и то, чего пока не имел, но в перспективе готовый к невероятным свершениям. Каждая из них почитала себя достойной этакого красавца. Каждая уже мнила себя соперницей...

Импровизация так захватила Олю, что она забыла ответить на сообщение. А явившись домой, не смогла этого сделать — хмель окутал ее, превратив радость в чувство отупляющее. С этим чувством она и сдалась в педантичные руки Ивана Николаевича, который был готов к традиционному невинному девчачьему пятничному загулу. Сам он не употреблял — мама сильно не одобряла, а употреблявшим немного завидовал. Поэтому, немного завидуя, он раздел и умыл возлюбленную, доставил ее в спальню.

«Как мне повезло!» — думала Оля, засыпая. Она испытала грандиозное торжество над подругами и была на седьмом небе, предвкушая неизвестное, но прекрасное будущее.

* * *

«Вчера написал тебе смску, ты не ответила. Я уже решил обидеться и выпить из тебя всю кровь», — прочла Оля с утра.

Она вздрогнула, посмотрела в окно, где занялся, но все никак не мог разгореться новый день.

Щелкнуло: «Не бойся, шучу☺»

Оля выдохнула. Но то ли здравый рассудок просыпался раньше мечтательности, то ли навалилось на нее нечто, схожее с похмельем — как это бывает после умеренной эйфории. Она чувствовала тревогу, закручившуюся где-то в животе — так ее интуиция обычно сигнализировала об опасности.

«Встретимся?»☺

Оля выпустила из легких оставшийся воздух, замерла, с полминуты не дышала. И голодающим мозгом придумала ответ: « На вокзале в семь».

Почему на вокзале и почему в семь? Она не смогла бы объяснить, если бы ее спросили. Сдается, тут работало подсознание, которое связало с вокзалом возможность покинуть навсегда родные опостылевшие пределы и ринуться навстречу чувственной новизне. А «семь» противоречиво означало, что она, в случае непредвиденных обстоятельств, еще успеет домой, чтобы не вызвать подозрений у Ивана Николаевича. Иван Николаевич по субботам никогда, в отличие от нее, не работал, и приходилось ему, очевидно, тяжело: следовало занять и прокормить себя до ее прихода. Он, наверное, скучал. Оля чувствовала (или воображала), что все еще мнится дорогому другу таинственной незнакомкой, которую требуется завоевать. Недаром он так настойчиво агитировал ее вступить в законный брак. Но Оля на все его заманчивые предложения отмалчивалась или в лучшем случае обещала подумать.

«В ресторане в восемь» — пришел ответ. Оля покраснела, потом побледнела — и окончательно проснулась. Ивана Николаевича в кровати уже не было, он что-то

мурлыкал на кухне, чему-то посмеивался. Из кухни несло жареным луком. Оля кинулась к шкафу с одеждой.

* * *

День мелькнул. День испарился, как капелька воды с раскаленной сковородки. Сковородкой, понятное дело, была Оля. Она дежурила на работе – караулила тех, кому в субботу, в день нерабочий, стало особенно невмоготу. Таких, на ее счастье, оказалось немного: два влюбленных подростка, мальчик и девочка, которые никак не могли выяснить отношения, и приличная женщина с большими грустными глазами, в которых читалась затяжная депрессия.

Потом Оля переоделась и отправилась навстречу судьбе.

В ресторане она уселась за свободный столик в самом углу и минут десять мечтала сделаться невидимой, посчитав вдруг, что посетители — мужчины, которые о чем-то жарко беседовали, – да и персонал приняли ее за девушку легкого поведения в поиске. Ведь для знакомства с укусителем Оля надела темно-синее с блеском платье, декольте которого ясно давало понять, что груди у нее – две, и обе в отличном состоянии. Мужчины, пригасив пожар разговора, смотрели в ее сторону, а молоденький официант неловко пытался отвести взгляд от нежной ложбинки.

Волосы Оля подобрала вверх, обнажив шею – чтобы виден был едва заметный укус. А то вдруг возлюбленный перепутает ее с кем-нибудь, вдруг в темноте, когда кусал, плохо ее рассмотрел...

Она оглядела зал. Пожалуй, перепутать ее здесь не с кем. Она здесь самая красивая. Довольная, Оля по-

удобнее расположилась на вычурном белом стуле и заказала кофе, в глубине души как бы уже любя неизвестного поклонника. Представляла его в пиджаке модного синего цвета (так одевался мэр их городка), под которым он прячет роскошные крылья темного, падшего ангела. А как они полетят к нему в замок? На крыльях или на самолете? Ладно, это уже детали, там разберемся...

* * *

Он появился со служебного входа, положил на стол бледную в красных прожилках розу и уселся напротив.

— Я вас слушаю...— привычно, словно к своему пациенту, обратилась Оля к круглолицему человеку, рубашка которого – видно по всему, дорогая рубашка – чуть не лопалась от живого напора. Человек устроил на спинке стула синий пиджак, взглянул на часы (очень дорогие, как в рекламе – вздрогнула Оля). На пухлом его лице шевелился очень маленький, чрезвычайно вздернутый нос. В ухе торчала черная серьга-гвоздик. Глазенки неопределенного цвета, глубоко и прочно посаженные, бегали туда-сюда, словно не в силах остановиться.

— Ты одна, куколка? Я не опоздал?

Губы Оли вмиг пересохли, во всем ее организме сделалась мертвая пустыня. Оля подвигала челюстями, будто проверяя, работают они еще, не забились ли песком.

— Да ничего, пять минут не считается, — проскрипела и опустила глаза. В целом ее ожидания рухнули, с романтической частью было покончено. Ибо что это сидит перед ней за образина?

Теперь оставалось решить, покроет ли потерю остав-

шаяся – материальная — часть. Однако же не развивая, не тренируя должным образом свой цинизм в течение жизни, Оля сейчас тщетно пыталась пересилить физическое сопротивление своего здорового молодого организма.

— Поужинаем? – мужик, ее ангел смерти, крупный вампир, поднял руку, и на его неслышимый зов прилетел юный официант. Вампир заказал хеннеси и еды.

— Да, я не представился. Влад. Очень приятно.

Оля привстала и зачем-то упала в реверанс, какой делала последний раз в детском саду, исполнив на утреннике роль снежинки. «Влад! Ну точно он!» — в отчаянии подумала снежинка, но отступить вроде как поздно, заказ сделан. «У нас просто культурная несовместимость» — убеждала себя Оля, разглядывая круглое лицо соседа, его некрасивую голову с покатым лбом, ручищи.

Наконец, когда культурная несовместимость достигла своего апогея, Оля улучила момент, отпросилась в туалет и сбежала.

* * *

Дома она плакала и плакала, утирала глаза, носик. Мечты ее сломались, как китайская некачественная игрушка. Иван Николаевич, который пришел поздно и обнаружил на столе не ужин, а плачущую Олю, стал нервничать, внимательно выспрашивая, что случилось. И, не получая не то чтобы вразумительного, но и вообще никакого ответа, наконец психанул, обругал подружку истеричкой и отправился вон из дома. «Во сколько вернешься?» — спросила Ольга сквозь сопливый рев, и голос ее вдруг приобрел командные строгие нотки. «Еще и контролирует!» — рявкнул Иван Николаевич,

хлопнул дверью и зашагал грозно по лестнице вниз, специально громко топая — чем ниже спускался, тем сильнее его было слышно.

Оля рыдала, пока внизу не грохнула входная дверь — Иван Николаевич покинул пределы подъезда. Затем высморкалась и улеглась на полу в позе морской звезды, чтобы хорошенько подумать.

Итак, судьба-злодейка подсунула ей самого отвратительного вампира, какого только можно придумать! Это же настоящая свинья с серьгой, а не вампир! Нигде она таких монстров не видела! Разве бывают толстые вампиры? Они ведь жирного не едят. Да и вообще можно сказать — недоедают...

Но что же теперь будет? Теперь это жуткое чудовище, разозлившись, конечно же выпьет у нее всю кровь. Может, сказать ему, что в туалете ее затошнило и она поспешила домой? А если он читает мысли?.. Ой, зачем она только согласилась на это свидание? Оля повернула голову вправо и взглянула на часы, отбивающие свою вечную чечетку. Вскочила, перешла на кухню и, параллельно соображая ужин, стала лихорадочно придумывать план спасения — близилась полночь.

План у нее созрел только один, без вариантов: отыскала телефон отца Николая, священника с растрепанной бородой, читавшего в их центре лекции о божественной любви — в поддержку психологическим тренингам, для большей их убедительности.

— А вам на какой случай? — удивился томный голос отца Николая на просьбу Оли налить ей бутылку святой воды и выдать крест побольше.

— Мне желательно серебряный, с возвратом. Я сейчас подъеду. Мне очень срочно надо. От вампиров.

— От вампиров? У вас все в порядке? Обязательно

приходите завтра на воскресную службу, — беспокожно заворочался в трубке голос.

— Но мне надо сейчас! Можно сейчас? — пропищала Оля, подсчитывая, сколько часов осталось до темноты. Над городом висели сумерки, снег, впитавший их, лежал сытыми тяжелыми кучами. Фонари еще спали дневным сном, но вереницы машин ползли, уже сверкая всеми своими глазами, охватывали убогую архитектуру окраины, высвечивали тревожные деревянные кварталы центра, подло, исподтишка окружаемые стеклом и бетоном.

Отец Николай на том конце провода упорно молчал.

Где же в этой дыре взять Ван Хельсинга?! – возопила про себя Оля и отключила вызов.

Не придумав ничего лучше, она наелась чеснока, натерлась им, засунула горсточку очищенных и раздавленных зубчиков – чтобы сильнее отпугивало – под подушку. Выпила снотворного, которое от географической своей бессонницы употреблял Иван Николаевич. И как только загорелись уличные фонари, отбыла на покой. Путешествуя с Ван Хельсингом по пустым улицам в поисках вампиров, не слышала, как вернулся Иван Николаевич и, задохнувшись в чесночном чаду спальни, улегся на диване в соседней комнате. Не слышала, как орали наверху соседи, наклюкавшись в честь выходных. Ее не потревожила полицейская сирена, прибывшая во двор по вызову соседей: дядя Петя (но и не только он, остальные просто постеснялись признаться) видел, как взмыла с балкона фигура. Понеслась на огромных крыльях, не рассчитала, врзалась в единственный тополь, росший во дворе, стукнулась о качели, падая, громко ругалась. А потом все-таки улетела.

* * *

Утром в квартире стоял смрад, чесночный перегар. Иван Николаевич в недоумении бродил, не зная, куда себя девать в такое утро выходного дня. Оля всю ночь издавала пугающие звуки, похожие то на рык, то на скрип. В итоге он нашел ее лежащей на полу у кровати. Она лягнула его, пребывая, очевидно, в сновидении, и как он ни уговаривал и ни тряс ее, категорически не желала просыпаться. Для Ивана Николаевича все это было уже слишком – слишком неожиданно, бессистемно, а он привык иметь дело с системами, изменения в которых или сезонны, или климатически обусловлены.

Оля проснулась поздно, с дурными предчувствиями, хотя и была рада, что вообще проснулась, пусть даже и на полу. Первым делом она отправила бедняге-жениху, едва он, привлеченный новыми звуками, заглянул в спальню, самый гневный взгляд, какой нашла в запасе. Она не имела в виду ничего конкретного, но разрушающая сила этого взгляда обратила Ивана Николаевича в камень — он предпочел замереть, разместившись за компьютерным столом, нацепив наушники и защитив глаза специальными очками.

Оля собралась в церковь к отцу Николаю за крестом и святой водой.

В силу креста и воды Оля никогда раньше не верила. Но теперь деваться было некуда.

На улице она натолкнулась на Любку. Любке вчера исполнилось восемнадцать, и сегодня от нее пахло как от совершеннолетней – спиртовым перегаром. Любка поймала Олю за рукав. Она так делала, когда хотела занять у соседки денег на какую-нибудь мелочь. Сегодня Оля не располагала свободными средствами и намере-

валась вырвать рукав и промчаться мимо. Но девчонка не отпускала.

— С твоего балкона вчера мужик прыгал. Своего довела, что ли? – прищуривая наглый черный глаз (второй был занавешен длинной и лохматой челкой), прохрипела Любка. Любкин голос, так же как и ее темное потустороннее яростное око, волновал Олю. Как будто Любка что-то такое знала про нее, чего и сама Оля ведать не ведала. Картофелина носа портила цыганскую Любкину красоту. Картофелина досталась от дяди Пети, отца.

«Прилетал, значит!» — испугалась Оля и сказала:

— Нет, это был не Иван Николаевич. Это был вампир. Он ко мне прилетал, — голос ее дрожал, на глаза наворачивались слезы.

Любка округлила яркий рот и гадко прищурилась.

— Шуточки у тебя, подруга, детские, – и пошла прочь, отчаянно вихляя бедрами, отчего ее всю шатало, как дерево под ветром. Она очень обиделась, ведь ей вчера исполнилось восемнадцать, пора принимать ее всерьез.

Щелкнуло. Оля сунула руку в карман.

«Прости, не смог вырваться, совещание поздно закончилось, телефон в кабинете оставил. Попробуем снова?»

Это был не он! В ресторане был не он! Спасибо, господибоже, это был не он! Оля стала подпрыгивать и приплясывать.

«В полночь выходи за дом».

Господибоже, за дом! Как в детстве! Дворовая мелко-та встречалась за домом, чтобы втихаря от родителей удрать на стадион, где занимались герои спорта.

Сверху, с балкона, на пляшущую ни с того ни с сего Олю смотрел Иван Николаевич.

* * *

За крестом и водой Оля, конечно, не поехала, надобность отпала. Она уснула после обеда в углу дивана, полная предчувствий и переживаний. Иван Николаевич бродил вокруг, силясь как-нибудь оформить происходящее, закартографировать прихотливые изъявления Олиного существа. Наконец уселся рядом со спящей и вздохнул. Оле же снился сон. В нем ничего не было видно, но зато летал крупный и сладкий голос. Он произносил.

Когда ангелы познали смертных, я стал желанием. Когда проснулся зодчий, я растворился в камне. Когда моря закипели, возмущенные своеволием капитанов, я населил обломок корабля, и отныне он поднимается мною из бездны...

Но вообще-то это лишь слова, за которыми есть еще слова, а за ними – еще и еще. Культурный слой похоронил меня, это моя вечная и весьма просторная могила – пока есть хоть один алчущий, хоть один потребитель на рынке смутных, но привлекательных образов, достоверность которых неопровержима, поскольку не поддается проверке. В этом абсолютном покое, в точке равновесия я размахиваю толстыми кожистыми крыльями, внушая страх одним и любопытство – другим. Моя красота ничтожна, ибо непостоянна, мое безобразие имеет смысл тайны. Я сам как тайна, поскольку прихожу в темноте. И каждый, кто имеет внутри темноту, подобную вечному уравнению, сталкивается со мной в узких коридорах, в спальнях, занавешенных красным, среди сумрачных благообразных деревьев – везде, где сила человека была приложена и принесла результат.

Полночь имела наверху желтый круг, а в нем – светлое пятно, белую родинку на черном теле.

Иван Николаевич заснул к одиннадцати часам. Он сохранял примитивную уверенность в том, что понедельник категорически отличается от прочих дней мифологической трудностью и к нему надо хорошо подготовиться за выходные — а значит, в субботу и воскресенье следует отдаться на волю Морфея пораньше. Олю эта невинная привычка всегда радовала — у нее было несколько одиноких часов, когда на ее внимание никто не претендовал.

За пять минут до полуночи Оля выскользнула за дверь, спустилась, хлопнула подъездной дверью и растворилась в темноте.

Темнота раскрылась, впустила. Забегал по воздуху снежок, такой мелкий, почти невидимый глазу. Только сверкание намекало на него — сверкание, сочившееся сквозь грубые поры темноты, хорошо видимое под фонарями.

Пот темноты. Блестит, обманывает.

За домом сквер-не сквер, так, деревьев пять. Мучаются, двигаются, но никуда уйти не могут. И — никого.

За домом – дорога, небольшая, сквозная, дворовая. Ревет, передвигаясь, свет.

— Эй! Ждешь?

Свет разговаривает и, звуча, затухает. Машина подъехала.

Оля садится в машину. Она готова оставить старое место, Ивана Николаевича, стены-пол-потолок. Она готова начать новую жизнь. Но — кем?

Водитель разворачивает машину, и они едут прочь от пяти мучеников, которые поют им вслед свою бесконечную песню.

Водитель останавливает машину на выезде у микрорайона. Включает свет. Оля разглядывает его: по всему видно, хулиган.

Он смотрит на нее в упор. Глаза непонятного цвета, но, должно быть, темные. У них и должны быть темные.

Оля мечтает – мужчина ей нравится. Она — в порыве тайны, она грезит уже о темном замке, где мрачные голоса летают сами по себе, не принадлежа никому, а возлюбленный заходит в спальню в отчаянии единственной и неповторимой страсти к единственной и неповторимой избраннице. Избранница удобно разместилась на широком ложе между атласом и леопардом, бретелька сползла с ее нежного плеча, залетный ветер (это духи замка благоволят влюбленным) сдувает волосы с плеча, обнажая шею, место сладкого первого укуса. Избранник — в черной куртке, в узких джинсах, выгодно очерчивающих мощные бедра и крупные, но изящные икры, его удлиненная прическа существует в художественном умопомрачительном беспорядке. Он бросается к ней, она – к нему. Оба устали ждать.

...Рассмотрел и спрашивает:

— Сколько берешь?

Однажды Оля тонула. Разгоняла ногами ряску, заволокшую речную поверхность. Шла вперед, пока не упала – дно оборвалось. Она не умела плавать, барахталась и шла уже вниз, когда ее вытащили. Она запомнила чувство отчаяния, овладевшее ею в зеленой мутной воде – это отчаяние выразилось словом «никогда». Сейчас слово НИКОГДА нарисовалось адским светом на лобовом стекле автомобиля, на лбу водителя, пять полумертвых деревьев выводили его в новой песне.

Оля выскочила из машины и побежала.

Она убежала далеко. Она заблудилась между пяти-

этажек, сгрудившихся, как сонные слоны. За ними ничка моста дрожала под веселым ватным снегом. Река близко. От разбитых надежд следует бежать, бежать и не останавливаться.

Дорога привела ее домой. Точнее, в ту квартиру, которую они с Иваном Николаевичем, так сложилось, занимали. Кровать проглотила Олю, погрузила в сон, и там, на той стороне, внутри, она ощутила продолжение того же бесхозного голоса, который снился ей после обеда. Он предупреждал.

Не просто выдумка, а зловещая фигура, воздвигшаяся как мертвое дерево на бесчувственной почве мегаполисов, я возвращаюсь затем, чтобы найти живое. Оно продлевает меня, а я выделяю его на общем фоне неживого, которое захватывает здесь плоскость за плоскостью, высоту за высотой. Я — насмешка, которую божество роняет при виде убогой мелодрамы.

* * *

Понедельник качался пьяным дырявым кораблем посреди болота отчаяния. Оля тоскливо стояла в автобусе прошлогодней камышиной и прислушивалась к себе. Что произносит воздух внутри камышового стебля? Пожалуй, воздух рассуждает о любви.

Ему легко, для него нет препятствий – и он, и его возлюбленная вода свободны. Они могут быть светлы и легки, могут быть темны и тяжелы. Во всяком качестве приемлют друг друга, согласуясь, а не нарушая. Но человеку счастье видится не в равновесии, а в томлении и страсти, в желаниях, утолить которые немислимо: рана, которую расчесываешь, не заживает. Человек предпочитает огонь и свет, отрицая темноту. Между тем его чувство коренится в самой темной глубине,

рождаясь в катаклизмах той вселенной, о существовании которой он лишь подозревает. А камыш знает все. Он говорит, что познать любовь можно, лишь познав глубину. А в глубине всегда темно...

Оля вышла из автобуса, вынесенная невидимым потоком. Течение не останавливалось. По нему проплывали розовые подростки-поросята, депрессивные женщины, проклинающие мужей, проплывали одиночество и растерянность. Серый коридор жизни наполнялся дымом. Дым уходил и оставлял пустоту переживания. Марина Сергеевна Паровоз хлопала дверьми шкафчика, где хранила приношения пациентов – спиртное и конфеты.

Пришел священник. Олю вызвали в логово Паровоза. Она извинялась с невозмутимой сатанинской улыбочкой, объясняя: поспорила с подружками, что сможет достать прямо посреди ночи крест и святой воды. Отец Николай не знал, рассердиться ему или рассмеяться. Марина Сергеевна хлопнула по столу ладонью:

— Как дети ведете себя! Выговор! – а потом заржала, тетка она была, в общем-то, веселая. Отец Николай заулыбался и облегченно вздохнул. Он был добрым человеком.

Все миновало Олю, не затрагивая ее чувств. Даже счастливая развязка в кабинете у Паровоза не вызвала никакой радости. Она ощущала изменения в пространстве, напрямую связанные с ее персоной, но чем связанные, не обнаружила. Поэтому смотрела в окно, переглядывалась с меланхоличными тополями, метущими синеву. Сбоку у кактуса гудели, сменяя друг друга, пациенты.

«Как обыкновенно!» — думала Оля, но теперь не обреченно, а удивленно-растерянно. Вот и день закончен! И последний пациент покинул ее пустотелый кабинет.

тик – деточка, теплая, с розовыми волосами, раздираемая созревающей темнотой, грозящая превратиться в женщину. Мать ее, напуганная переменой, желающая присвоить навсегда свое дитя, продремала этот час в коридоре, ожидая. Как трогательно, как ничтожно!.. На стене позвякивали стекляшечками чепуховые дипломы, побрякивала посуда в длинном шкафу, воображающем себя перстом указующим.

Как обыкновенно: она; вокруг нее, над ней и под ней клубятся стихии; Оля Хныкина приобретает над ними власть.

* * *

Темнота шлепнулась густой каплей туши. Растекалась медленно. Ей подчинилась, в ней увязла длинная широкая улица, по которой Оля шла к автобусной остановке. Слева монумент в кепке тянул людям железобетонную руку, справа испуганно моргали витрины. Окна кафе источали тусклый, словно бы военный, свет. Впереди крепостной возвышалось старинное здание, занятое поликлиникой – внутри больных встречали оскаленные морды львов, снаружи свирепые кариакиды потрясали символами самодержавия. Угловые башни не освещены – рабочий день закончен. Статуи под крышей inferнально хмурились. Их готическое настроение сообщалось дальше — резко сужающейся улицей и длинами массивных домов по обеим ее сторонам. Не дома, а настоящие крепостные стены, с расширенными бойницами, в которых горит то синим, то белым адский огонь.

Тротуары пусты, глухи. Но проезжая часть оживлена, она шумит. Прохожий, идущий вдоль этой длинноты, словно наблюдает специфическую кинореальность:

он движется вдоль нее – вдоль полосы призрачного киношного света, вдоль блеска машинного лака и стекол, вдоль горизонтального, неутихаемого шума, но сам остается в тишине. Так, в оглушительной тишине подлинного, шла Оля, врезаясь в рыхлый снег строптивыми каблучками.

Вдруг общая тишина разрушилась, словно кто-то камнем уничтожил хрупкую преграду. Оля остановилась и стояла теперь посреди гремящего кинофильма. Со стороны — обыкновенная ожидающая героиня, легкий и красивый шаблон. А правую барабанную перепонку ей врезался голос.

Голос был обычным, непримечательным. О нем только и можно было сказать, что он – мужской.

— Давайте выпьем кофе, — владелец голоса, черной фигурой торчавший на фоне дискотечного оформления проезжей части, кивнул на крепостную стену. В ней открылась дверь, выскользнули норки, песцы, поволокся по воздуху длинный вязаный шарф.

— У меня был тяжелый день, извините, — вздрогнув, сказала Оля. Время от времени ее настигали отцы подростков. Все они были людьми полуодинокими, удрученными. Оля не считала нужным приглядываться, хотя, наверное, попадались и симпатичные. Они напоминали ей зайцев, которые бежали от преследователей. Зайцев, которые резко выпрыгивали из-за какого-нибудь камня или куста на ее жизненный путь.

— Может быть, я попробую еще раз: зайдем, выпьем кофе? – голос стал настойчивей.

— Я не пью кофе на ночь.

Она взгляделась. Какое, вроде бы, обыкновенное лицо. Какое обыкновенное всё. Даже рост обыкновенный, средний, как у Ивана Николаевича.

— Здесь, наверное, плохо видно, — голос стал еще громче, фигура зашевелилась и сделала шаг к свету, вытекающему из двери.

— Я вас достаточно разглядела, — съехидничала Оля и в душе всецело одобрила себя за этот сварливый тон.

— Я думал, нам с вами есть о чем поговорить. Чувствую в вас родственную душу.

— Молодой человек, не мешайте идти! – Оля быстро раздражилась такому-то нахальству и начала ощущать в себе нечто воронье: голова ее будто вытягивалась, губы окостеневали, за спиной созревали крылья. Она ими хлопала, отпугивая врага, и говорила: кар-кар! Вот как сейчас: кар-кар-кар! Зачем этот мужчина к ней пристает?! Что с него вообще взять? Что с таких неудачников вообще можно взять?.. Только кровь выпить. Оля усмехнулась собственной шуточке.

— Не спешите отказываться, – голос набрал силу и сделался прямо-таки могучим. Фигура наклонилась к ней.

«Маньяк!» — мелькнуло в Олиной голове, и она ринулась напрямик через дорогу. Каблучки, уносящие ее напуганное и разгоряченное тело, зацокали быстро, вслед им летели звуки клаксонов и грубые выражения.

— Дух и плоть смогут ли снова соединиться?! – несло ей вслед. Она слышала слова, прорывающиеся к ней из-за ватной глухой стены. Голос из сна преследовал бедную Олю.

...Дух и плоть смогут ли снова сойтись в человеке на равных? Там, где нет плоти, веселится дух. Там, где нет духа, плоть совершает свое нехитрое дело, оканчиваясь и продолжаясь. А ведь плоть – время, которое замкнуто в кольцо, дух – пространство, которое позволяет

кольцу разойтись спиралью. Отсюда и вечная любовь, живущая в теплом и не знающая окончания.

Ей подвластны отрешенность и нежность мертвых. Для нее — усталость готических библиотек, милые анахронизмы вроде шкатулки с танцующей балериной. Во имя нее – и вся дрянь, сползающая ядовитыми потеками с киноэкранов, затапливающая мозги, закупоривающая сердца, подобно сальной пробке. Она появилась намного раньше, в ней искали спасения, а находили только смерть – рыцари, съедающие сердца друг друга, дамы с железными доспехами на причинном месте.

Во имя нее – все слова человечества. И я обещаю вам, что они – бесконечны.

* * *

Иван Николаевич был оживлен. Бегал по кухне, сустился, парил-жарил. Так бывало, когда он хотел сообщить сомнительные новости — то есть точно не знал, хороши ли они для адресата так же, как и для него. Поэтому-то Оля ела его стряпню без особого аппетита, ожидая новостей. Впрочем, аппетит у нее в последние дни вообще был не очень.

Иван Николаевич дождался, пока Оля доковыряет основное блюдо до дна тарелки, и выбежал из кухни. А потом вбежал обратно, но уже не один. Оля подозревала, что другу было одиноко, но не подозревала, до какой степени: Иван Николаевич заявился на кухню с крохотным черным щенком.

— Вот, у подъезда нашел. Назвал Марсиком.

Марсик трепыхался в клешнях Ивана Николаевича, требовал свободы, вытягивал мордочку вперед, шевелил носом. Наконец он пискляво сказал: ав! ав-ав-ав!

Это могло значить что угодно, но значило одно — ибо Марсик испустил прозрачную струйку.

— Мы же договаривались: никаких животных! — Оля была брезглива к щенкам, к детям, ко всему, что росло, производило нечистоты, производило шум. Они с Иваном Николаевичем, который обожал живую природу как ученый и как мужчина, сразу договорились: никаких зверей, никаких детей. И что же теперь?..

Иван Николаевич отпустил щенка на пол. Тот, помахивая куцым хвостиком, доковылял до Оли, посмотрел на нее черными бусинами и напал на правый тапочек. Оля возмущенно стряхнула животное с тапочка и вышла из кухни.

* * *

Она закрылась в ванной, пустила воду. Щенок добежал до ванной и тьякал из-за двери, требуя внимания.

— Вынеси из дома эту заразу! – голос, полный возмущения, сотряс маленькое помещение. Чугунная ванна зазвенела, зеркало звякнуло.

Оля приблизилась и рассматривала себя в зеркало так внимательно, словно это придавало какой-то смысл ее личному существованию. Две крошечные дырочки на шее почти исчезли, и теперь сном казались все недавние приключения.

На минуту Оля почувствовала, что ее снова обманули. Но теперь смутное отражение в запотевшем зеркале смеялось над ней, тыкало пальцем: вот дура! кто ж тебя обманул? сама обманулась!

Зеркало все больше зарастало влагой, Олины черты размывались и покидали его поверхность. На месте Олиного лица появлялась прекрасная, абсолютная,

полная пустота. Она говорила зеркальным голосом на зеркальном языке. Она спрашивала и отвечала.

В ком оживу я, темное прошлое и темное будущее? В любом пустом, в любом ищущем, чем бы наполнить себя. Свободен тот, кто не ищет полноты, а производит ее как кровь...

* * *

Не всякому посчастливится в столь короткий промежуток времени пережить столько волнений, сколько за последние три дня пережило зеркало в Олиной ванной. Будь оно по-настоящему волшебным, сообщило бы хозяйке неоспоримые факты, которые та, в силу обстоятельств, не могла заметить сама. Но зеркало всего лишь отражало что было сил, выполняло свой долг. Отражало бы и дальше — ведь серебра в нем не было ни чуточки, один алюминий. Однако же зеркало, к несчастью, запотело.

Именно поэтому, а не по какой-то другой причине Ольга не могла видеть своих ярко-желтых глаз с точечкой зрачка посередине. Не могла видеть, как по ее рукам и груди расходятся сердитые черные вены. А за спиной двумя нежными рулончиками свернулись крылья.

Она открыла дверь ванной комнаты, прошла по квартире в чем мать родила, высокомерно бросила Ивану Николаевичу окончательное распоряжение избавиться от животного. И решительно распахнула балконную дверь.

Этажом выше по балкону нагишом гулеванил Петр, выкрикивая пророчества, призывая сограждан к порядку. Соседи со всей округи — в четыре дома, составленных квадратом, — привыкли к безумству подобно-

го рода и давно превратили его в развлечение. Поэтому не слишком огорчились, когда балконом ниже нарисовалась еще одна фигура. Присмотревшись, различили, хоть наступили уже сумерки, что фигура женская. Многие окна тот час же погасли, чтобы различать лучше. Зрители со двора сильнее задрали головы.

Женская обнаженная фигура в сумерках – это совсем не то, что при дневном обнажающем свете. Она таинственна, от нее ждут – особенно если она торчит в неподходящем месте – какой-нибудь романтической тайны. К примеру, завораживающие статуи в полутемном саду – они напоминают живых женщин. Впрочем, со статуей чего взять – стоят истуканами, смущают неразвитую фантазию.

Другое дело приятная фигура на балконе. Особенно если она вдруг разворачивает за спиной огромные крылья, а потом взмывает. Но площадка непригодна для взлета, и фигура ударяется о дерево, затем о качели, но все же пересиливает земное притяжение и поднимается. Машет крыльями, летит, летит... И завтра не пойдет на работу, ну их всех. Не зайдет с отчетом к Марине Сергеевне, не станет выслушивать депрессивных теток, из которых порой хочется выпить всю кровь. Она сама найдет себе подходящего вампира, она не дура и не собирается ждать у моря погоды сто пятьдесят лет. Вот так-то!

Иван Николаевич некоторое время стоял в растерянности, глядя на балкон, едва вмещавший Олю и ее крылья. Когда она подпрыгнула и сорвалась, очутился в категорическом замешательстве, но вдруг очнулся, схватил Марсика и помчался на улицу. Прыгал через две ступеньки, а в голове сообразно прыжкам тюкало: неужели так обиделась, что он нарушил их договорен-

ность? Неужели это из-за собачки? Тогда не надо ему никакой собачки! Он вернет ее на место, как всегда возвращал в детстве! О, он помнит всех детских собачек, которых подбирал на помойке или в чужих подъездах! Он возвращал их со слезами и в злой обиде на мать! Но это было так давно, так давно!

— Оля! Оля!..

Когда Иван Николаевич с разбегу врезался в дверь подъезда, Марсик выпал из его рук и отлетел в одну сторону черным мячиком, сам же Иван Николаевич – в другую, мешком. Он глухо ударился о стену и теперь тихо сползал вниз, на бетонный пол. Можно ли назвать мысли, которые зарождались в его голове в этот момент, его собственными? Или же их занесло ветром, когда распахнулась вдруг, ни с того ни с сего, подъездная дверь – вошел кто-то невидимый. Ветер надул следующее.

Пустое заполняется опухолью, собачка тут ни при чем. Подумай же, чем было дерево до того, как оно выросло. Чем оно стало, когда ствол его опустел и превратился в чашу?

Человек, последняя частица бога, ощутившая суть жизни и отвергшая ее: «На самом деле там — ничего, только могила нас ждет» — существует, чтобы разрушиться или вместить.

А слова рождаются из страха. Они слабая надежда обмануть страх. Закружили, зажали – и вот торжествует иллюзия: ты обороняешься в крепости, кровавой волной захлестываешь наступающих, горячую смолу льешь на их головы, готовишь колья для жестокой расправы над теми, кто окажется в плену. Битва разворачивается не на шутку. Оба войска поражаются горьки-

ми стрелами, валятся со стен в снеговую перину. Там и остаются твердыми тельцами в мягкой природе. Нет ни одного выжившего. Кроме тебя. Ты дерево, ствол которого опустел.

Итак, чем было дерево до того, как выросло? Словом Господа, отступившего перед твоей темнотой.

* * *

Автор по неоспоримому обычаю имеет право на последнее слово – как любой, кто оканчивает свою историю. В какой-то степени он схож с висельником, мучеником, подсудимым. Автор хотел бы завершить историю, ради которой он превратился во что-то другое, выйдя за пределы своего единственного лица. Во что же? – спросите вы точно так же, как спросил Иван Николаевич невидимку, распахнувшего подъездные двери в тот знаменательный вечер. Извольте: в смешные ожидания женщин, поклявшихся вечной клятвой своей мифологической слабости, в заостреные ожидания мужчин, спутавших рабство со счастьем; в подлинное, но временное величие детей, чье презрение к родителям так нестерпимо, что со временем побуждает их стать ровно такими же.

«Что уж говорить, все мы — лица маленькой и мрачной транснациональной пьесы, в которой всегда найдется не занятая роль» — такая вот окоlesiца влетела в правое ухо Ивана Николаевича. Он поспешил встать с пола, подобрал щенка, который в недоумении крутил головой, восседая на самой нижней ступеньке, и выбросился из подъезда в сумерки.

* * *

Не имеет значения пейзаж, декорации не нужны —

все унифицировано до степени неразличения. География перешла в область воображаемого, миры создаются как образ или цифра. Неуловимая реальность торжествует.

Все, что нужно для оформления этой сцены – пять деревьев, многоквартирный дом любой этажности, но все-таки не менее четырех. Выстроим лавочку и качели во дворе, двор закатаем в асфальт или зальем бетоном. Изобразим сумерки.

— Оля полетела, – констатирует Иван Николаевич и разводит руками удивленно. Он в футболке, украшенной со спины надписью «Настоящий мужчина» — мамин подарок. Он также в шортах и тапочках, стоит в мартовской хляби, волоски на ногах и руках встали дыбом в тщетной попытке уберечь организм от холода.

Тополя на краю сцены клонятся ему навстречу и поют свою песню, она, как всегда, печальна. А что вы хотите от городских деревьев, обитающих под игом жестокого смога?

Щенок, во второй раз выпавший из ошеломленных хозяйских рук, взвизгивает и убегает в темноту.

— Оля полетела, – повторяет Иван Николаевич для того, кто вышел из темноты, подошел и встал с ним рядом.

Иван Николаевич не оборачивается, не смотрит. Знает, кто рядом: фигура не выше обычного, стройность ее укрыта черной накидкой с красной изнанкой, накидка висит неподвижно, словно тяжелая портгьера, и даже мартовский резвый ветер не может пошевелить ее. Светящиеся в темноте глаза, красный рот, выдающиеся зубы – в голове Ивана Николаевича быстро собирается нужный образ. Географа бьет мелкая дрожь – не из страха, но от холода. К вампирам он относится нормально, хотя лично ни с одним не знаком.

Он спрашивает голосом сильно замерзшего человека:

— Куда она полетела? В замок Дракулы?

«Козел!» — говорит фигура уверенным голосом. Иван Николаевич принимает это на свой счет: и вправду, к чему задавать идиотские вопросы, когда и так все очевидно. Любая нормальная женщина охотно променяет двушку на замок, работу на титул, Ивана Николаевича на Дракулу. Так устроен мир. Иван Николаевич уныло смотрит в темноту.

От него отходит Любка. Она разозлилась: почему все шутят с ней, словно она пацанка? Она абсолютно взрослая, в жизни кое-что понимает. К тому же Иван Николаевич нравится ей статью и лицом. Но принимает ли он ее всерьез?.. Любка полна решимости выяснять свои шансы. Но для начала надо убрать с балкона безумного отца, для этого она, собственно, и вышла во двор в огромном, длиннющем материнном пальто. И она голосит снизу, пытаясь воззвать к остаткам отцова разума:

— Батя-а-а, свали-и-и оттуда! Свали-и-и, кому говорю-у-у!

Покричав, она убегает в свой подъезд.

Дядя Петя еще пророчествует, но все тише. Наконец крик превращается в тягучую вязкую песню. Значит, скоро зайдет в квартиру.

Но Ивана Николаевича не волнует дядя Петя. Он смотрит в небо вслед улетающей Оле. Он закоченел настолько, что уже и не замечает холода. Он воображает, как Оля Хныкина летит в поисках своей судьбы на запад, кожистыми крыльями отталкиваясь от воздуха.

...Она видит белый замок, торчащий на скале посреди темноты — он словно верхушка воспаленного

прыща, готового лопнуть. Приземляется на безлюдную прямоугольную крышу. Потайная лестница, необычайно узкая, приводит ее в библиотеку. Она стоит голышом среди остро пахнущих книг, толстые корешки которых вытерты или покрыты золотом. Слышит скрипку, клавишин, виолончель. Идет через анфиладу комнат, но не видит музыкантов, хотя музыка так близко, что ее можно схватить. В комнате с огромной черной кроватью, чья резная спинка столь же прекрасна, сколь и пугающая — существа, голова дракона, цветы зла — стоит у окна мужчина, обыкновенный, ничего особенного. Его лицо в полутьме, ибо комната освещена по старинке, свечами. Он кланяется и говорит низким, пробирающим голосом:

— Давайте выпьем крови.

Оля страстно отвечает ему, в ее голосе слышится нетерпение:

— Я не пью кровь на ночь. У меня от нее бессонница. Она бросается к нему, он к ней, оба устали ждать.

Занавес.

Остров

37

С лодочной выпрыгивали наглые носатые лодки. Их несло на остров посреди воды, почти под мостом, крупный, заросший деревьями и, по контуру, дачами. Остров вполне достигаем, но если смотреть с моста – кажется, что недостижим. Почему? Я задавала себе этот вопрос и до того, как попала туда, и после. Особенно после. Что обеспечивало ему изоляцию, которая колоколом накрыла эти буйные деревья, очистила воздух, создала яркую тишину? Дрожат огни – космические сверху, земные вокруг, но остров остается темным углом, древним камнем покоя – первым камнем истории: она произошла, случилась, разгорелась, погасла. Оставила теплые следы, по которым пойдут другие, даже не представляя, что ожидает их на пути.

* * *

В январе остров проявляется — как фата-моргана в звонком, хрустящем воздухе. Января – особое правило, в них становится очевидной и зима, и ее гибель.

Остров будто вышел из-под матовой чешуи, образованной неровными кусками плавающего льда – река не замерзает, находясь в бесконечной пытке: ей не дают уснуть теплые воды гидроэлектростанции ниже по течению. Как дряблая старческая кожа над расслабленными мышцами, река собирается вокруг острова в бесчисленные складки.

Река бессильна. Ее остров лежит замертво, не обнаруживая ни единого признака жизни.

В марте вода бьется о бетонные парапеты материка, толкает заспавшихся на волнах бронзовых уток. Она по-прежнему серая, но пульс ее слышнее, дыхание видно. Остров по-прежнему молчит, еще не отзывается. Однако облака уже бродят над ним, весело зацепляя верхушки деревьев.

Июнь, разгоряченный, ослепленный, любит сакуру, абрикосом, сонными сосенками и большой елью в середине острова – здесь без усилий растет все, что ни посажено. В июне моторки облепляют кусочек суши, колыгаются на холодных волнах. Река подрагивает прозрачным телом. Ее гладят дети – правнуки первых здешних поселенцев-рыбаков. Впрочем, дети везде свободны. Взрослые же островитяне считают свой рай единственно возможной свободой. За его пределами им теснее, чем на клочке суши, который легко обойти за полчаса, пересчитав все здешние деревья.

На середину реки деревья занесли дачники. Когда-то остров был младенчески гладок. Лишь трава и мелкий кустарник скрывали то закатившиеся мячики солнца, то звезды, приземляющиеся на открытую поверхность отдохнуть. Приехали как-то рыбачки, внимательные рыбацкие жены, да и собрали все звезды. Спросите в городе, у кого самые яркие серьги, у кого кольца и ожерелья блестят тревожным влекущим блеском. У рыбачек, это любой вам скажет.

* * *

Ворочались облака, с трудом огибая ничтожный кусочек суши, словно он обладал необъяснимой и невидимой защитой. Лодка ревела и отплевывалась, пока наконец не вцепилась в берег.

Между камешков на берегу произрастал алый одинокий мак.

— Уезжайте лучше к вечеру, — неуверенно поторопил хозяин лодки и обещал доставить обратно на материк в лучшем виде:

— Часам к восьми приходите...

Смотри-ка, выпроваживает, а я еще и сойти не успела.

— Спасибо. Посмотрим.

* * *

Дело не в тишине и не в звуке, а в последовательном одиночестве. Остров – отдельная часть суши, окруженная водой. Он населен по берегу, в глубине острова – словно еще остров, зеленый и пустой. Внутри была лагуна, крошечный залив, высохший теперь. Когда-то и здесь, по берегу лагуны, проживали люди, но высох залив, и многие оставили свои дома – они были рыбаками, а не какими-нибудь сухопутными крысами.

Остались доски причала, нависающие над высохшим заливом, над высокой травой, захватившей его дно. Домики же стоят пустыми. Пустыми в чудовищно высокой траве. Я прохожу сквозь ее зеленую стену.

— Эй! Жду, жду. Уже хозяйка ругается, где, мол, гости! – вдруг рычит сбоку. Рычит как лодка. Это Гена. Гена здоров и ярок. Синий пальмовый лист, перерубленный китайской портнихой надвое, не сходится на пузе. Гена счастлив и давно стар. Его жидкая, но нахальная борода превращает насмешливое полубурятское лицо в физиономию азиатского фавна.

Мы идем еще немного и оказываемся на другой стороне острова.

* * *

Их добротный дом прилеплен боком к маленькой хибаре. Рыбацкие хибары – четыре хилые стены, одна комната да прихожая с ноготок, во весь рост высокому человеку едва хватает выпрямиться – появились первоначально, очень давно, да так и стоят, поглядывая квадратными окошечками на реку. Елизавета, супруга Гены, устроила в хибаре большую летнюю кухню. Она обрадовалась гостям и с утра гоношилась, перерабатывая огородную растительность в угощение. Ее руки взлетали и опускались. Рот ее говорил.

— Рыбачки приплыли за мужиками вслед. Мужики неделю на работе, кто в автоколонне, кто на мелькомбинате. А как выходные или отпуск, так на остров. Женщинам что делать? В городской духоте что ли околачиваться? Так вот Лидия и купила цыплят на птичьем рынке, еще семена, еще кое-что по хозяйству. Брат помог добраться до лодочной, поклажу притащил. Она лодку на станции наняла. Ефимка-лодочник отвез ее да и вывалил со всем скарбом на берегу – сильно торопился. Ветер в тот день был. Гроза шла.

* * *

Ветер в тот день разбуянился нешуточно. Гроза шла, толкала перед собою густые тяжелые запахи. За собою гроза волокла серую пленку, точно бесхозного младенца собиралась завернуть в сиротском доме. Покрыла остров, запеленала.

Лидия чуть не в обмороке. Цыплята притихли в корзине. Но собралась все-таки, подняла корзину, хозяйственную сумку. Остальное, тяжелое, которое не унесет ветром и не испортит дождь, подтащила поближе к жалкому какому-то кустишке, под него

припрятала – мало ли что. И отправилась по берегу к строениям, маячившим сквозь серую вязкую морось.

Четыре хижины выстроились на некотором расстоянии, одна за другой по берегу. Возле ближней от ветра покатывалось знакомое эмалированное ведро с трафаретным грибком на боку, брякало, билось грибастым бочком о стенку домика. Доски для домиков мужчины возили на лодках.

Лидия вошла.

Никакого быта: раскладушка брезентовая, в углу – свернутый ватный матрас, колченогий стол и табурет, который Андрей забрал из отцова гаража. Не ошиблась домом, свой. Ложка знакомая, закопченный чайник. Щепки в углу, древесная мелочь, ветки – для печки. Дождь захлестнул остров, казалось, выбьет домику крошечный глазок, и без того мутный, больной.

Лидия внимательно оглядела жалкое хозяйство, устроила на гвозде плащ и прилегла на раскладушку, ожидая, что Андрей вот-вот вернется, в такую-то погоду должен вернуться. Холодноовато, однако нашла одеяло и так согрелась, печку топить не стала, решила дожждаться.

В рыбалке Лидия ничего не понимала. Зато Андрей родился в предместье, где человек-мальчишка без удочки и за человека не считался.

* * *

Она дождалась, хотя сон накатывал, ломил.

Мужчины о чем-то покричали на улице — дождь смягчал их резкие голоса, путал буквы, слова, превращал речь в густой сироп – и ушли. Лидия слышала.

Тонкая дверь скрипнула. В проёме созрела фигура. Липкая ночь просочилась внутрь, обволокла раскла-

душку, на которой скрючилась Лидия в темной полудреме: ей грезились деревья в дожде, укрывающие какую-то фигуру, цыплята зашевелились, деревья расступились, дали свободу постороннему очертанию.

Он! Лидия уселась на раскладушке, глаза закрыты, руки протянула – вернулся, сквозь веки увидела, узнала. Он развернул матрас возле, набросил покрывало. Осторожно стащил сонную вниз.

Она бы глаза открыла, но они не открывались. Она бы встала, но тело не слушалось, покачивалось на медленных волнах, переворачивалось, словно она плавала в воздухе, по нему вверх и вниз ползли обжигающие ручейки. Ломаные светлые линии, пятна, похожие на чешую быстрых рыб, проплывали. Волновались звуки, нарастало и замедлялось дыхание. Только руки смогла поднять, обняла – и растаяла, растворилась в обоюдном желании. (Елизавета сказала: растаяла, не помнила ничего, морок будто бы на нее нашел).

* * *

Утром обнаружила бесконечность, в которой и нет ничего, и есть все.

Солнце молотило по раскладушке раскаленными кулачками, дверь скрипела и хлопала, скрипела и хлопала. Где же кто? Живая душа, очнись...

Лидия выпорхнула из домика, позвала Андрея. Нету. Зато грибастое ведро установлено в тени и полно холодной, еще живой рыбы. Лидия на рыбу поглядела, обрадовалась.

Нашла картонную коробку в углу. Цыплят в нее высыпала, вынесла на улицу, задав им прямо в коробке корма. Коробка зашумела, зашуршала. Лидия, крича мужу на улице, отправилась к соседям.

Три домика загорали один за другим на крутеньком берегу. Вокруг – следы мужской деятельности: щепки, обрывки лески, металлическая ерунда. Солнце ровно освещало лилипутские крыши – соразмерные, впрочем, острову.

— Побродила между домиками – дверки-то на замках. Обошла остров кругом по берегу. Повдоль обошла и поперек разведала. И что ж? И ровно никого. Никого ровнехонько, — махнула рукой Елизавета. Ее седые кудельки растрепались в хлопотах. Посреди свежего островного лета они порхали над заваленным снедью столом, точно зима склонялась над обильной осенью, трясла сероватыми прохладными облаками.

Гена заглянул в кухню и ретировался под сложным взглядом жены. Знал Гена: не место мужчинам на кухне, особенно когда начат и длится женский разговор. Елизавета улыбнулась, оправила кудри и шибче застучала ножом по деревянной доске, крошила зелень. И под этот славный ритм ее история текла, как река.

Полнота переживания, свойственная Елизавете, увлекала любого, кто ступал на порог их дома. Она только казалась старой, а внутри оставалась молода — выдавали порывистые яркие движения и то, как она смотрела: испытав время, ее глаза не замылились, не привыкли – она видела все в первый раз, всему удивлялась. Елизавета на острове родилась.

— Только представь: стоит Лидия, никого нету, и лодки ни одной. Ну и что же? – думает. Воскресенье ведь. Какой рыбак станет воскресенье терять? Уплыли, значит... Лидия сильно горевать не стала. Рыбой занялась. Из крупного хариуса уху сварила, помельче – за-солила в тазике, который среди хозяйственной мелочи с собою привезла. Фанеркой прикрыла, на нее камни

сложила для гнета. Потом отобедала ухой... Хочешь рыбки? Только что посолила, с лучком, с перчиком.

Елизавета сняла с полочки вместительную эмалированную миску, целый тазик, подняла крышку. В нос ударил восхитительный брутальный запах перца и лука, и в нем настойчивой тонкой нотой звучал женственный запах реки, ее звон и плеск, ее песня.

* * *

После обеда Лидия принялась за уборку. Но при таком ничтожном хозяйстве уборка заняла слишком мало времени. Тогда Лидия придумала устроить за домом, в тени, загородку цыплятам. Повозилась изрядно, соорудила из подручной ерунды. Вытряхнула цыплят из коробки на волю. Потом притащила остальное, схороненное прошлым вечером добро, рассортировала. Тряпки разбросала по мелкому, едва от земли поднявшемуся, кустарничку — сушиться. Лопату взяла и примерилась заложить грядки за домом, в глубине острова.

Островная почва, которую человеческий интерес до сей поры не имел в виду, трудно поддавалась. Корни, камни сопротивлялись повреждению общего порядка. Но Лидия, хоть и выросшая в городе, имела крестьянскую настырность. Сколько раз мачеха драла ее за волосы, требуя лучше полоть их крохотный, на задах дома, огородик – огородики в их черноизбушечном мире провинциального города были у всех. Науку Лидия усвоила, и когда долго болевшая мачеха к общему облегчению перебралась в мир иной, она продолжала полоть так, словно муку на пирог просеивала – с прилежанием и тщательностью. И с особым умыслом — задобрить царя почвы. «Отдам тебя ему, будешь плохо работать...», — грозились мачеха. Она сгинула, а сердитый царь остался.

Царь почвы явился однажды маленькой Лидии в виде жирного, почти в палец, дождевого червяка. Однажды он выполз, расположился в середине двора. Лидия смотрела, как он ворочается, потягивается. Брат же из озорства перерубил его лопатой. В тот самый вечер маленький, но славный дом, где они занимали квартиру, сгорел. Так царь почвы отомстил за дерзость.

Лидия ковыряла верхний каменистый слой, отбрасывала камешки и раздумывала о царе почвы: кем он представляется сейчас?

Скоро поверхность острова была нарушена, убраны камни. Здешняя земля могла родить — особенно если с материка привезти немного жирной. Потенцию почвы Лидия определила с первого взгляда. Она все устроила, разбросала семена. А когда закончила, то над головой уже косо ухмылялся месяц.

Рыбаки еще не вернулись.

* * *

— Ну давай, хватай, что в руки войдет... — кивнула мне Елизавета и сама подняла несколько тарелок с угощением, чтобы нести в сад, где среди кривеньких яблонь и вишен торчал мощный стол. Мы быстро заставили его полной и пустой посудой.

Гена заявился к столу прибранный, залихватскую рубаху поменял на парадную ярко-фиолетовую футболку. За ним семенили старики – соседи справа и слева.

Гена втолкнул за стол одного из них, крошечного человека, сморщенного и коричневого.

— Вот! Первые поселенцы!

Старичок уселся, но как бы стесняясь. Осторожно поглядывал в мою сторону. Но к знакомству приступать не спешил.

— Мотор как? — вкрадчиво поинтересовался у хозяина.

Гена махнул рукой.

— Никак. Не работает.

Старик покивал и сменил тему. И островитяне, повысив голос, заговорили о спортсменах, которые пару дней назад зачем-то приплывали с материка на попугайских желтых байдарках. Чужаков на острове явно не любили.

— Затопчут место... — обтекаемо объяснил мне Гена высокий градус разговора. Другие старики закивали. Елизавета склонила голову к плечу, как птичка, молча слушала.

Разгорелись хозяйственные беседы. Дома стеной окружали остров. Здесь не было ни дорог, ни троп, ведущих вглубь. Чтобы пересечь остров, нужно было знать место, где свернуть, как пробраться. И они разговаривали о том, как улучшить систему сообщения, сохраняя ее в тайне. Дачники проходили по участкам соседей, чужаков останавливали, допрашивали, кто, откуда и зачем. Мягко выставляли восояси, уговаривали, где-то действовали обманом, а где-то могли и припугнуть – на острове имелась парочка доисторических винтовок. И даже сами отвозили, возвращали чужаков на материк на своих лодках, не жалея бензина. Пьяных, случалось, утихомиривали так: поили еще больше и вывозили с острова, укладывали на лодочной станции проспаться, на этот счет с начальством станции была твердая договоренность. Казалось, островитяне оберегают что-то от постороннего прикосновения.

— Мы тут живем... по-семейному, — подобрал слово Гена, его жиденькая борода тихонечко подрагивала.

— Ну, можно и так сказать, — поддакнул коричне-

вый старикашка. Его большой рот раскрылся, как клюв птенца, и оттуда вылетел хриплый смех. Люди вокруг стола подхватили, закудахтали, засмеялись. Елизавета, сидевшая молчком, но, по глазам видно, небезучастная к общему разговору, встала, кивнула мне.

— Прогуляемся. Засиделись.

Мы вернули на кухню опустевшую посуду и пошли между грядками.

— На сакуру посмотрим. Она, правда, отцвела, уже... А самый первый-то огородик был несмелый, всего на четыре грядки – где-то здесь. Где-то здесь, – и Елизавета нырнула под яблоневую ветку.

* * *

Лидия вскопала огородик и вдобавок маленький участок возле самого домика — и бросила туда семена цветов. Наглостью, конечно, было заявиться в чужие владения и самостийничать. Но уже не осталось никакой мочи себя пересиливать – еженедельно Андрей собирал рыбацкий скарб и отчаливал. Лодку себе купил непутевую, по дешевке, но повозился и отремонтировал. А Лидию с собой не звал. Да она и не просилась. Из принципа — мол, пусть сам позовет. А тут нашла на нее невиданная решимость во что бы то ни стало — за ним. Любопытство ее разгорелось: что делает ее молчаливый муж, как существует?

Женаты они были год, раньше не знались. Замуж Лидия вышла скорее по необходимости – отец умер, семейный брат прочно обосновался в их общей квартире в пятиэтажке, которую получили они взамен сгоревшей. Лидии страсть как надоело быть лишней. Она желала быть нужной. Андрея она встретила на танцах, легко согласилась на замужество, но мужа почти не

знала. Времени вместе они проводили немного. Но что-то в нем задевало ее до самых косточек.

— Плавать-то умеешь? – спросил, когда они на втором свидании висели над городом в корзинке аттракциона. Колесо не двигалось, поскрипывало.

— Не умею, — пропела Лидия.

— А рыбу любишь?

— Вроде, — пожала плечами.

— Выйдешь за меня?

Она сразу согласилась. Почему? – этот вопрос Лидия легко себе задавала и легко на него отвечала: судьба.

Так и на остров приехала – в прорыве убежденности, что это ее судьба. Посмотрит на своего рыбака, узнает получше...

Натянуло темноту, напитало влагой — и она шваркнулась на землю коротким, но мощным дождем. Лидия охнуть не успела, как тряпье, разбросанное по кустам для высыхания, вновь намокло, намокли цыплята, намокла она сама. Собрав водобоязливые предметы, собрав цыплят в коробку, она спряталась в домике, развела огонь, переделась в сухое. Печка нагрелась, Лидия захлопотала с ужином, выставив на столик две свечки, укрепленные в консервных банках.

Ужин был готов, когда она как будто услышала лодочный мотор, вдалеке — голоса. С облегчением вздохнула, присела на раскладушку дожидаться, пока муж лодку разгрузит. Да и закемарила незаметно, тихонечко, жар печной сморил ее — даром, что печь мала, так и домик невелик. Невелик, на гнездо похож, у берега прилепился. Так и остров невелик — если по берегу идти, так и весь легко обойдешь, попробовать надо...

Заскрипела и хлопнула наружная дверь. Лидия встрепенулась, глаза раскрыла – а свечка одна погас-

ла, стало темновато. Ну ничего, еще очертания видать. Заскрипела дверка комнатная, порывом ветра вторую свечку задуло. Поднялась Лидия, пошла навстречу, но ничего не разглядела. Позвала. Он, запнувшись обо что-то, упал к ней в руки. Опомнился, обхватил. С холоду-то разгорячился, держит, не отпускает.

— Ужинать будешь? – она не настаивает, мягко предлагает. Ей вовсе не хочется, чтобы он ее отпустил. От его шеи пахнет тинной, от лица — остро, свежо. Лидия вдыхает и наконец проваливается в бездонную яму между тинистым и свежим. Летит и ничего больше не помнит.

Утро вырвало ее из волнующих снов, она проснулась в поту. Что во сне увиделось – вспоминать жарко и стыдно. Вышла на улицу – никого. Покричала – одни чайки навстречу ей шумят, переругиваются. Начала сердиться: опять одну оставил. Но долго ли просердишься, коли и высказать некому?

Возле домика снова ведро, полное рыбы – куда же столько? Не помнила Лидия, чтобы так много приносил Андрей, встревожилась: не браконьерничают ли, не сетями ли таскают? Как бы плохого не вышло из такой-то рыбалки. Побродила по берегу в раздумье, добрела до соседних домиков. Ничего там не изменилось. Впрочем, подальше, на пологом берегу — глубокие следы от лодок. Неужели опять ушли по реке? На работу им, что ли, не надо? Лидия хмыкнула раздраженно, но потом улыбнулась, вдохнула поглубже — уж так привычно измотаешься за учебный год на школьной кухне, так в эту колею встанешь, что и других отдыхом попрекать начнешь...

Она вернулась к своему домику, управилась с рыбой. Внутренности раскидала чайкам. Они, принимая го-

стинец, орали так же громко и были так же ненасытны, как ребяшня в столовой.

* * *

Мы шли минут пятнадцать, шаг в шаг. Елизавета впереди, я позади, балансируя между грядок, заполненных буйной растительностью, между плодовых деревьев на беленых ножках, через кусты, на которых завязывались ягоды. Царь почвы, видать, не обделяет это место своим вниманием. Наконец Елизавета нырнула в заросли высоченных, в человеческий рост, стеблей, увенчанных желтыми цветами, и мы оказались на берегу. Мы пересекли остров.

— Весь его обойти и сейчас несложно. А раньше — проще простого, можно было взглядом окинуть, весь как на ладони лежал, никакой преграды зрению. А материк далеко. Днем встанешь на кромке воды и смотришь на пустые бесшумные берега, аж страх берет. Кажется, что один этот остров на всем свете людьми населен, а на материке никого нет. Страшно до восторга. Теперь, конечно, не так. Здесь деревья выросли, а берега на той стороне позастроены так, что аж до нас городской свет доходит. Но все равно... — Елизавета прищурилась, будто бы вдаль. Но как будто и не вдаль вовсе, как будто в себя смотрит, такой у нее взгляд.

— Так на чем мы остановились?

— Лидия рыбу чистила.

— Ну так вот: минул и этот день...

* * *

Не найдя себе занятий, Лидия искупалась в лагуне и сидела теперь на берегу, рассматривая воду. Ничего особенного, вода как вода. Ни одной лодки на горизонте.

Прошел поезд вдоль берега на материке, бесшумный, как привидение. Лидия встала и побрела по берегу. Легкая и пустая, женщина передвигалась по мелким камешкам как сухопутный кораблик, полоскала на ветру свои паруса.

Закат вылил на реку изрядно жидкой рыбьей крови. Она расползлась, вышла за пределы воды, оставила следы на берегу, намочила камни и травы. Лидия вошла в хижину и уснула, едва лишь прилегла, хотя ни одной звезды ночь еще не выбросила на небосклон.

На третью ночь он снова вернулся. Она не слышала его, но точно знала, что он был: помнила слабые ощущения тепла, неудобства. Потом, поутру, были сильные и яркие, почти болезненные, воспоминания.

Утром она нашла рыбу в ведре — и больше ничего. Никого.

* * *

Когда граница нормального истончается и начинается кошмар неузавания, неразграничения? Кошмар полной безудержной свободы, в которой Хаос производящий начинает выстраивать свои прихотливые комбинации – событий, чисел, желаний. Точка отправления становится и точкой прибытия, а все движение сводится к переживанию.

Мне жаль того, кто попал в эту странную ситуацию. И я завидую ему.

Когда Лидия стояла на берегу, полная невероятного отчаяния, вода приобрела необычный светло-зеленый оттенок. Вслед за ней зеленым стал и воздух. Лидия чувствовала себя так, словно ее заточили в драгоценном стекле. Конечно, она уже знала, что вся жизнь при-
снилась ей, что явью оказались лишь три последних дня и три последних ночи. Все остальное будто было

не с ней и не для нее. События ее времени только начинались, они разворачивались так скоро, словно кто-то торопился явиться, молотил кулаками в запертую дверь – и его наконец впустили, и это Лидия родилась. Заново и по-настоящему.

И следующие несколько дней у нее открывались глаза, она училась видеть и улыбаться, ее руки и ноги учились находить опору и держать вес в воздухе. Дни миновали незаметно. У Лидии оставалось достаточно пищи, она ни в чем не нуждалась. А для отопления ей хватало нескольких древесных кусочков. Днем она общалась с землей на ее языке, копала, чистила, рыхлила и сеяла. Очевидно, царь почвы простил ее.

Ночью она сидела на берегу, а замерзнув, шла в хибару и погружалась в длительные сны радостного, но непонятого содержания. Ни одного звука, ни одного свечения не доносилось до острова. Только справа моргало — наверное, проходная лепрозория на правом берегу. Никто больше не приплывал.

А утром в субботу к острову пристала моторка речной инспекции.

* * *

Ефимка-лодочник, живший на станции в сторожке, рассказывал детям всякие басни. Ребяшня из прибрежных избушек прибегала слушать его, приходили даже те, кто проживал наверху, на горе, в красных и белых пятиэтажках. Приходили и взрослые. Басни Ефимки были занимательны, а сам он – стар, поэтому никуда не торопился и мог заливать часами. Он даже умер, рассказывая – сидел на крыльце, да и завалился. Напарник Ефимки, видя такое дело, детям сказал, что стар больно сказочник, вот и уснул. Дети убежали, досадуя, что

сказка не окончена. Впрочем, историю эту слышали они уже не раз, хоть подробности Ефимка всегда менял.

Выросши, рассказывали они ее своим детям. Легенда вышла из-под контроля, развилась, приобрела черты общие, мифологические, которые сопровождалась массой подробностей, противоречащих друг другу. И наконец из обихода исчезла, то ли растворилась, то ли спряталась. Теперь и вспомнить невозможно, о чем она. Так, в общих чертах: приехала женщина на остров к мужу-рыбаку, не зная о том, что он утонул накануне, осталась одна-одинешенька ночевать на острове, в рыбацкой хижине, и ночью к ней приходил кто-то, и через положенное время родилась у нее дочь. Ну и так далее. Череда событий менялась, неизменным оставалось только дурацкое пророчество, которое для понту выдумал сам Ефимка и от которого из-за его торжественности не мог отказаться: с той поры все женщины этого рода должны проживать на острове, а если какая-нибудь откажется, то река осерчает, поднимет великую волну и снесет весь город к чертовой матери.

— А чё же не снесет? Снесет на хрен, и давно пора... — отвечал Ефимка слабым голоском, если вдруг поднималась у слушателей волна сомнения, и поднимал вверх указательный палец, словно адресуя насмешников к небесным инстанциям.

* * *

— Ну, Ефимка-то был болтун еще тот, — усмехнулась Елизавета.

После того, как Лидию, немного безумную, но вполне живую, отыскали и увезли на материк, остров и населился. Рыбачки собрали все драгоценные камни, которые обрамили кто в золото, кто в серебро. И с той

поры потеснили женщины рыбаков, принудили отстроиться, разбить огороды и вести вполне сухопутное существование.

— Но мужчины рыбачат, а как же. Но все же теперь на земле крепко стоят. Почву с материка для огородов на лодках возят. Мама, когда на остров возвращалась после больницы, первая в лодке землю везла. То-то над ней на лодочной потешались, Ефимка разнес по всей округе, что умом она окончательно тронулась. А рыбацки, что на острове в это время курей разводили и за мужиками своими присматривали, сразу смекнули, что она правильно делает.

Елизавета обернулась спиной к реке, лицом к острову и долго куда-то смотрела. Огороды здесь разрослись, дома посерьезнели, превратились в настоящие усадьбы. Все стояло неколебимо, никакой стихии не подвластное, от суеты отдельное. И люди этим гордились. На минуту показалось, что они чувствуют себя вечными. И моя тетка Елизавета, дочь Лидии, здесь – вечна.

* * *

Обойдя остров по берегу, мы вернулись к столу. Гости окончили обед и теперь потягивали густой и почти черный домашний ликер. Ликер до того был сладок и до того вишнёв, что перехватывало от него дыхание. И вода в реке, казалось, пахнет вишней. Гена с коричневым старикашкой разбирали мотор возле сарайчика – они собирались покачаться в лодке, макая снасти в воду да любуясь огнями городских набережных.

— А вот настоящей рыбацкой удачи с тех самых пор больше ни у кого не было, — вполголоса сообщила мне Елизавета, глядя в сторону сарайчика, где возился муж. От сарайчика вглубь острова простиралась ее плодо-

родная равнина, райский сад. Сморщенная кожа на ее руках напоминала волны коричневой земли, которая впритык сходилась с водой и воздухом.

* * *

К тому времени, как Елизавета вернулась сюда, на остров, окончив школу, многое в окрестных водах изменилось. Соседние островки разобрали на гравий – город рос. Ее же остров стоял нетронутым, на него слетелись лишённые дома чайки и гнездились в диком множестве. Мать к этому времени уже умерла. Умерла просто так, ни от чего, вроде как ей просто захотелось спать, и она уснула. Дочери сказали: сердце взяло да и остановилось. Тело Лидии, легчайшее, вывезли с острова и похоронили на кладбище на окраине города.

Рыбачки к этому времени обосновались накрепко, так же, как и чайки – и Елизавета, поселившись в семейной хибаре, нанялась сторожить их добро и служила к тому же переправщиком на лодочной станции — женщины управлялись с лодками плохо, страшились, а Ефимка тянул-тянул, но однажды все-таки помер.

На зиму она уплывала в город, где тихо сидела в квартире дядьки, материного брата, когда-то перерубившего надвое царя почвы. И незаметно исчезала оттуда по весне, едва только появлялась возможность плыть и ветра слабели.

Хижину на острове она оборудовала печкой побольше, возила для нее дрова и уголь на лодке. Еще развивала огород, насадила деревьев, кустов. Мама, мир ее праху, в детстве учила: тщательней работай, траву ничемную дери с корнем, а то царь почвы не даст тебе ни земляники, ни яблочка. Елизавета хорошо запомнила. Иногда, когда она возилась в огороде, ей чудилась тем-

ная фигура среди разросшихся кустов и текущих к небу деревьев. Девушка махала приветственно и говорила: здравствуй, царь почвы. Фигура тут же пропадала, но иногда махала ей ответно.

Бывало, что и на берегу чудилась Елизавете фигура – бродила между лодок, а то и над ними, двигалась от кромки воды к домикам, к зарослям и там пропадала. Елизавета кланялась ей – здравствуй, царь воды.

К этому времени Елизавета научилась рыбачить и ловила помаленьку на жареху да на засол. И до тех пор выходила на лодке, пока не появился Гена, тоже островной житель, но с острова побольше. Его остров торчал, подвластный всем ветрам, посреди огромного озера. Черных шаманов там хоронили на деревьях, а древние каменные стены преобразовывали ветер в невообразимые устрашающие звуки. Гена стал рыбачить, а она больше по реке не ходила.

— Давно уже не ходила. Да и не хочется... Разболталась я что-то, утомила уже тебя, – Елизавета закончила рюмочку ликера, крикнула по-мужски. Она не была грубой, напротив, в своем почтенном возрасте сохранила женственность и легкость. А ее ухватки, которые могли бы показаться грубоватыми, напоминали скорее трогательную неловкость девочки-подростка, которая хочет казаться взрослее, смелее, отчаянней.

— Ну что, останешься или поедешь? – резко крикнул в мою сторону Гена, кончив возню с мотором и собирая снасти для ночной рыбалки. Гости, которые собрались уже расходиться, замерли и обратили ожидающие взоры ко мне.

— Она останется, – вдруг ответила за меня Елизавета.

— Останусь, пожалуй, – вся неловкость чужака пропала во мне от ее слов. Мне было интересно остаться.

Гости разошлись. Гена ушел в большой дом. Зарычал генератор, и в верхнем окошечке, на чердаке, загорелся свет.

Солнце перебирало волны, окрашивая каждую в красный. Елизавета ушла в дом и тут же вернулась.

— Пойдем.

Куда мы побредем с ней в этой темнотище?

Мы брели между грядок, впереди она, высокая, покачивала белой одуванчиковой головой. Потом брели по пояс в теплой и острой траве. Город гудит где-то вокруг, но остров храним невидимым куполом, едва пропускающим чужеродный звук и свет.

— Ухают, может, не улетят, — Елизавета остановилась и подняла голову. Пара сов нашла себе уют где-то над опустевшими домиками. Живут не первый год, позволяют себя фотографировать. Может, и не улетят. Вдалеке горланят чайки — люди и деревья вытеснили их на самый край.

Наконец мы пришли. Елизавета открывает дверь гостевого домика, освещает его внутри, показывает, что к чему.

Гостевой домик, бывшая рыбацкая хибара, брошенная у заросшей лагуны, содержит старую кровать, стол, древний самодельный табурет. К утру будет прохладно, но есть маленькая печка. Видно берег.

Говорят, если здесь кто утонет, то тело унесет далеко. Его утянет за пару сотен километров. Обычно их не находят. Но говорят, что призраки не хотят расставаться с землей, потому что человеческие тела — суть почва.

— Не бойся, это все городские сказки, никто тебя не потревожит, — усмехнувшись, молвит на прощание Елизавета. Передает мне фонарик и лампу и молча уходит. Я вижу, как ее фигурка угасает, сливается с теплым

дыханием этого рая.

Надо мною заскрипела ель. Рванул ветер. Кто-то может искать здесь покоя, но здесь его нет, есть движение, среди которого сама мысль о том, чтобы заснуть, кажется нелепой. Движение завораживает. Остров вращается. Всем, что ждет, движет смерть. Здесь же никто никого не ждет и никогда не ждал. Здесь просто все всегда было.

Начинается дождь.

Ключи



Говорят, в давние времена дьявол встретил на дороге одинокого всадника. Дело было к осени, опустошенная природа раскаянно качала почернелыми головами репейника, а из пасти ее вырывался красный кленовый огонь, желтый липовый огонь. Стаи черных птиц летели к горе, которая возвышалась на горизонте, исчезали в ее отрогах.

— Это души проклятых, которые отправляются в чистилище, а оттуда, как правило, прямо в ад, — сказал дьявол всаднику, преградив ему дорогу.

Тот ничего не ответил.

— Среди них и твоя возлюбленная, — сказал дьявол и ожидающе уставился на всадника.

Всадник молчал.

— Среди них твоя возлюбленная. Она попадет в ад, — приплясывал дьявол. И зачем он это сказал? Он оглядывал осеннего змея. Змей страшил его. Смена времен года всегда была на руку людям, а значит — во вред дьяволу. Будь его воля, он бы все переменял. Сезоны сменялись бы по его единоличной прихоти. Или же он предпочел бы какой-то один. Какой же? Он не знал. Не знал, как выбрать — ведь у него не было права выбора. Это его возмущало.

Всадник не издал ни звука.

* * *

Всадник был закован в латы. Голова его размести-лась в большом шлеме с прорезями для глаз. Дьявол

вгляделся в прорези. Наверное, шлем слишком большой для маленькой глупой рыцарской головы, глаз и не разглядеть.

— Эй, кастрюля!

Задул ветер. Дьявол прислушался. Ветер гудел внутри шлема, вызывая звуки.

— Она была прекрасна, надо тебе сказать. Гораздо прекрасней, чем ты заслуживаешь.

Конь под всадником стукнул копытом и захрипел.

— Да ты вообще ничего не заслуживаешь, даже последней уродины, — сказал дьявол. Он хорошо помнил, когда увидел ее впервые. Собственно, он на минутку приземлился, чтобы созерцать большой праздник, на который его, конечно, не приглашали. Но кто же заметит лишнего гостя, если гостей не считано?

Она стояла с бокалом у живой изгороди, платье на ней забавно шевелилось. Это маленькие озорные ветры веселились, хватали красивую гостью то за грудь, то за ноги. Он ревниво отогнал ветерки, но подходить к ней ближе не стал, наблюдал издали. Тем более что подвалил вскоре какой-то хмырь в темном камзоле, белых чулках. Галантный такой хмырь, кланялся, к ручке приникал. Она смотрела мимо, но понятно было, что заинтересована, глазенки блестели. Хмырь наступал, она отодвигалась, порывалась уйти. Но хмырь все торчал перед ней, хватал за руки. Ну чем все это могло закончиться? Понятно, ничем хорошим. Дьявол подумал тогда, как будет забавнее – чтобы хмыря сдуло или пусть лучше у него начнутся галлюцинации.

Когда хмырь упал на травку и начал корчиться, представляя, что борется с леопардом, она закричала. Такой реакции шутник не ожидал и заволновался – уж больно испуганно она кричала, а потом бухнулась в обморок и

белела на травке, словно снежинка с неба упала. Пришлось поднимать. Поднял, в лицо посмотрел – нежное, неправильное личико. Ресницы задрожали, веки отворились, полился оттуда свет неземной. Пришлось собственные глаза конечностью прикрыть, чтобы зрение не потерять. Но по привычке, руку убрал. Она – смотрит, смотрит так... внимательно, как будто силиться узнать. И потом вдруг улыбается, вроде как узнала, и ей от этого вроде как хорошо. И тебе от этого вроде как хорошо тоже. Да не вроде, а точно. Точно хорошо. Очень хорошо.

Но начали сбегаться люди — хмырь по земле катается, но обессилел уже, дама в обмороке. Всем любопытно. Ну, теперь, насладившись дурацким зрелищем, пора было исчезать.

— Вид у тебя был — загляденье: камзол порван, колени зеленые. Король шутов! Эй, слышишь, дурак железный?!

Ни конь, ни всадник не пошевелились. Стояли посреди дороги, как конная статуя.

* * *

Второй раз дьявол увидел ее у источника. Она разделась и нырнула. Просвечивала в воде, летела, как подводная птица. Он воображал, как волосы тянутся за ней, прямые, рыжеватые (она была в шапочке). Он думал по примеру Зевса обратиться золотым дождем или быком, но источник был маловат для бычьей туши. Над источником вытянулись колбасками длинные лампы. Такого света он не выносил. Такой свет делал его намного старше. Хотя, конечно, в таком возрасте какая уже разница...

В источник то и дело прыгали люди, двигались параллельно друг другу между разноцветными раздели-

телями туда-сюда, туда-сюда. Бассейн – это не океан и даже не река – не длинная и узкая река. Плавать в бассейне все равно что улечься спать в свинарнике или плевать против ветра. Как-то так. Литературу он знает хорошо, но сам в сравнениях не силен. Однажды хотел сочинить стихотворение, вышла такая галиматья, что Господь долго над ним смеялся. Ну не подлость ли с его стороны?..

Подводная птица снова пронеслась мимо. Дьявол уселся на бортик, опустил в бассейн ноги и так сидел, ожидая, что она снова проплывет и он, может быть, незаметно дотронется до нее, чтобы прикоснуться к совершенному воплощению материи.

Он полагал, что к людям несправедливо относят два разных вида. Возмущенная материя порождала уродов, а также людей обыкновенных. Материя всесильная, тайну которой знал и строго охранял ловчила Господь, просачивалась наружу красотой. Красивые люди были, так сказать, порами вселенной. Через них выступала на поверхности та материя, овладев секретом которой, дьявол мог бы стать непобедимым и единственным. Не могший ничего создать, он был безошибочным ценителем. Господь смеялся над ним: мол, ты и впрямь полагаешь, дурашка, что аз есмь доступное органам вещество? «Ну что ты, брат мой, — отвечал дьявол (при слове «брат» Господь иронически поднимал брови). — Я просто имею в виду, что дух тоскует, если ему не из чего создавать. Не ты ли сказал, что Слово было вначале?». Господь никогда не спорил. Они обедали, потом обсуждали новинки литературы, может быть, гоняли мяч по раздражающе зеленой траве.

— По большому счету, партнер, у тебя есть только я, — на прощание говорил дьявол.

— Это так, — подтверждал партнер.

— Ну так, может быть, ты однажды пригласишь меня в свою лабораторию и откроешь какой-нибудь маленький секрет? — как бы случайно ронял дьявол.

— У меня нет секретов, — Господь разводил руками.

— А секрет красоты? — вкрадчиво произносил дьявол.

— Как же тебе объяснить... — тер лысину Господь. — Можешь ли ты отличить живое от мертвого?

— Легко. Я даже могу превратить живое в мертвое, — не преминул съехидничать дьявол.

— А наоборот? Можешь ли превратить мертвое в живое?

— Я могу принудить мертвое ходить и говорить.

— Принудить? Этого мало. Подумай над этим.

— Что за детский сад! — возмущался дьявол. Но тут раздавался телефонный звонок, и Господь убежал по делам. Этот их разговор ни разу не бывал окончен.

...Дверь душевой в дальнем конце бассейна открылась. Вышел хмырь. Дьявол его сразу узнал — по глупому выражению на самодовольном лице. Та, что была подводной птицей, увидела хмыря и высунулась из воды, перестала плавать, зависла. Потом рукой ему замахала. Он прыгнул, они поцеловались и долго плавали. Потом она что-то ему сказала. Он на нее прищурился, выражение его лица стало совсем глупым — злым и глупым. Он из ее рук выскользнул и подплыл к бортику, выбрался и ушел. И ушел. А она заплакала — вот так просто, взяла и заплакала. Но никто не видел. Только он один и видел — сидел на бортике и видел. Он сколько хочешь мог на нее смотреть. Она все равно не могла его различить в люминесцентном свете.

Когда она вышла из воды, дьявол окинул ее взглядом — и все понял. Удивительно! А между тем сам он,

могущественный, не может произвести ничего живого, может лишь принудить мертвое говорить! Да и это еще вопрос: может ли?

— Эй, кретин,ними с головы железяку. По-моему, у тебя мозги сварились! Ты знаешь, что такое ад? А я тебе скажу. Никто не станет жарить тебя на сковороде. И все, что ты слышал об аде – забудь. Ад – это когда ты движешься по черной дороге, а она никуда не ведет.

Дьявол скрестил руки на груди и замолчал.

Внутри рыцарских доспехов гудел ветер.

* * *

Это дождь, похоже, смазывал все впечатление от речи дьявола. Теперь он был главным голосом в оркестре и пошло побрякивал по рыцарскому железу. Конь сказал «иго-го», опустил голову ниже, но продолжал стоять не шевелясь. Дорога быстро раскисла, превратилась в вязкое болото, потом в трясиину. Конь и тяжелый всадник стали погружаться.

— Эй, мы еще не закончили! – возмутился дьявол, поднял коня и переставил на место посуше. Доспехи брякнули, но рыцарь не сказал ни слова. Вообще, подлец, делал вид, что его здесь нет.

В больнице тоже делал вид – мол, я тут совершенно ни при чем, просто зашел. Она в траурных тряпках, с темным лицом, ютилась на краешке стула. Под стулом на бочок опрокинулась плотно набитая сумка: халат, тапочки, книжка, разная женская ерунда.

— Я пойду, мне надо обратно на службу, иначе не миновать проблем с начальством, — хмырь потоптался еще с минуту и ушел.

Но ей точно не хотелось его отпускать. Оставшись одна, она еще больше потемнела лицом. Нужно что-то

предпринять, нехорошо, когда женщины так темнеют лицом, а глаза их наливаются отчаянием и злобой, - думал дьявол. Они очень легко впадают в крайние состояния и натворить могут все что угодно. Эта вот сейчас натворит дел и пойдет напрямиком в ад. А куда еще девать детоубийц? Конечно, куда еще. Но, по правде говоря, в этот момент он не испытал удовлетворения: тайна все-ильной красоты только-только приоткрылась ему.

Конечно, после того, на что она согласилась, ей придется крепко поразмыслить над своим поведением – пока до самых глубин сознания не дойдет настоящий размер содеянного. Будет возвращаться, проживать новую жизнь. Кем он встретит ее снова? Деревом у дороги, корни которого каждый станет топтать. Или, может, матерью неизлечимо больного ребенка?

Похитить белый халат с опознавательной биркой не составило труда.

— Почему на вашей бирке женское имя? – спросила она, когда дьявол, нарядившись в докторское, подошел к ней. Но в голосе ее не было настоящей заинтересованности.

* * *

Когда через пару часов после процедуры дьявол под видом медработника проводил ее вниз, в главный вестибюль, накатывала тьма. Обычно, когда люди говорят «тьма», они подразумевают ночную темноту. Но здесь была настоящая тьма, с хлопаньем черных крыльев, завыванием, кряхтением. Некоторые слышали будто бы даже адский смех. Но адский смех – это крайнее проявление, довольно редкое. Так что, может, им показалось.

Она вяло произнесла «спасибо» и пошла вдоль парковки. Влезла в синюю машину.

На переезде машину помял поезд. Так что она вернулась в больницу.

Никто из людей не понял, почему она оказалась на рельсах. Этот идиот в доспехах догадался, но сам себе не поверил.

— Если в аду и жарко, то ей будет жарче всех! – прокряхтел дьявол. Ему показалось, что доспехи поднялись и опустились, железяка ударила о железяку. Рыцарь вздохнул, точнее, поднялись и опустились его железные плечи. Но и только.

Уже образовались на небе звезды и месяц ослабил-ся, глядя на две неравные фигуры – дьявольскую громаду и железного человечка, непоколебимо восседающего на черном и потому невидимом коне.

— А может, в ее поступках нет твоей вины? Хочешь, я расскажу, какая участь ожидает тебя? Не хочешь? Почему? Ты же ни в чем не виноват... – увещевал дьявол, надеясь вытащить из рыцаря хотя бы слово. Вообще-то он умел уговаривать, успокаивать. Поднаторел в этом за последнее время: устроился на полную ставку доктором. А почему бы и нет, медицина хорошо знакома ему: отравители, потрошители, алхимики. Да и, по правде сказать, любая фармацевтическая корпорация с превеликим удовольствием приняла бы его на работу в качестве главного специалиста.

Но его не интересовали ни деньги, ни жертвы. Он стал рядовым доктором в той самой больнице. Его интересовала только она. Дьявол надеялся, что она выдаст тайну, которую партнер не хочет ему открыть.

Шепот, родившийся прежде губ – вот как слышала его она, как бы ее ни звали. Он приходил, пока она была без сознания, сообщал ей сладкие видения, чистейшие

иллюзии. Сила ее сопротивления была ничтожна, она свободно впускала и выпускала любые образы.

«Вещи неравны себе и противоречат себе», — думала она всякий раз, стоило ей очнуться. Ибо очнувшись, она всякий раз на мгновение охватывала взором некое свечение, о котором она знала лишь одно: оно животворно и является главным везде и во всем. Свечение вдохновляло ее — и тут же пропадало.

— Доктор, я кое-что вижу, — бормотала она пересохшими губами.

Доктор заинтересованно улыбался и самолично присоединял ее к медицинскому прибору, который передавал ее венам глубокие сообщения.

Но мир волшебства отступал по мере того, как срастались кости. Сообщения приобретали иной характер, появлялись тревожные детали.

— Доктор, теперь я все чаще чувствую себя нефтяной вышкой, о которую ударяются наглые холодные волны. Они одинаковые и в то же время разные. Сколько их уже было?

— Волны успокаиваются.

— Приходят другие.

— Вам неведомо чувство надежды?

— Я считаю, что люди принимают за надежду нечто иное. Они боятся смерти, и надежда для них — это лишь право избежать ее в ближайшую минуту.

— Ну а что вы скажете о вере?

— В ней нет частей. Она не из чего не состоит. Она цельная. Она — пустота, рождающая свет.

— То есть вы верите в пустоту?

— О, да. Вы думаете, на кровати лежит женское тело, отягощенное совестью и разумом? Вовсе нет, на вас моими глазами смотрит именно пустота.

Она отвернулась. Дьявол хотел было спросить ее еще о любви – партнер намекал, что любовь имеет отношение к интересующему вопросу. Но передумал: «Бог есть любовь» - это слишком частное мнение. Вместо этого посмотрел в потемневшее зеркало, в испуге замершее над тумбочкой. Внешность очень важна, жаль, что он не может оценить своей, человеческое зеркало нечетко его отражает.

* * *

Земля начала пузыриться, превратилась в черную пену. Рыцарь пошевелился, наклонил голову, поднял руку, брякнул ногой. Дьявол оживился.

— Я хотел бы знать, как ты собираешься поступить. Так и будешь ползти по своей черной дороге, железный червячок? Даже безучастной природе трудно вынести твое присутствие.

Земля кипела, разъедала конские ноги. Обнажились уже кости. Дьявол кинул на середину дороги камень и уселся на него.

— Но я, между прочим, никуда не тороплюсь. Помнишь, как ты навел ее в больницу?

Когда хмырь пришел в больницу впервые, то притащил убитые цветы. Сестра воткнула их в воду, чтобы продлить их мертвое цветение, устроила на тумбочке. Хмырь внимательно наблюдал, достойно ли оценено его приношение. Но больная равнодушно потрогала лепестки и замерла.

— Когда заживут ноги, меня переведут в психиатрическое отделение. Психиатр уже приходил. Он приходит почти каждый день. Но как медленно у нас идет время.

— Тебя что, упрячут в дурдом? И надолго?

— Это для профилактики, полечат от стресса.

— А что, они всех попавших в аварию переводят в психушку?

— Я не знаю. Но я по ночам кричу. Поэтому они вызвали оттуда доктора.

— И что, доктор сказал, что ты спятила и надо лечиться? Не понимаю. Ты, наверное, можешь отказаться. Зачем тебе это? – парень явно нервничал, энергично потирал руки. Она задумалась. Потом внимание ее привлекло что-то в дверном проеме, она даже приподнялась на своих подушках. А потом нахмурилась.

— Какая красивая девушка заглянула сейчас в мою палату.

Посетитель вскочил, выглянул в коридор.

— Нет никого, я никого не заметил.

— Так мне отказаться от лечения? – спросила она.

— Откажись, конечно, — в голосе появились высокие ноты.

Ну все, пора вмешаться. Дьявол поправил халат, откашлялся и вошел в палату. Она облегченно вздохнула и посмотрела на него своими небесными глазами так, что пришлось зажмуриться.

— Больной нужно отдыхать, а вам пора идти.

— Это твой лечащий врач? Или тот психиатр? Я хочу поговорить, – парень вскочил, его маленькое лицо загорелось неуместной яростью, словно он отстаивал честь, совершал какой-нибудь дурацкий подвиг.

— Я ее лечащий психиатр. У вашей невесты шок, сильный стресс. Ей нужен покой на некоторое время и тщательное наблюдение.

— Черт возьми, но ведь можно прописать какие-нибудь таблетки, я не знаю...

— Вы действительно не знаете. Поэтому вам придется положиться на мое квалифицированное мнение.

Когда не удовлетворенный разговором посетитель покинул палату, она сильнее откинулась на подушки, вжалась в них и с благодарностью посмотрела на человека в белом халате – немного усталое у него лицо, но очень энергичное, привлекательное. И сказала:

— Вы всегда приносите мне облегчение.

* * *

— Как ты думаешь, когда наступил решающий момент? Железо заскрипело. Рыцарь поднял руку.

— Ладно... Ответь, это была случайность – девушка в желтом плаще, которая привезла тебя в больницу?..

Девушка в желтом плаще ждала в машине на парковке. Но любопытство (и еще что-то, нехорошее) взяло верх, и она поднялась на третий этаж, тихонько подошла к палате и заглянула. Спиной к ней, лицом к лежащей сидел тот, кого она привезла. Девушка остановила взгляд на кровати, быстро охватила всю картину, поймала встречный взгляд лежащей, на который очень рассчитывала, и, бросив извинение, исчезла. Сделала вид, что ошиблась палатой.

Она получила крепкий выговор за свое любопытство, когда ее пассажир в крайне раздраженном состоянии вернулся в машину. Но девушка была довольна. Они уехали.

После того, как палата опустела, больная повернула голову к окну и заплакала. Она прочла послание во взгляде незнакомой девушки, заглянувшей к ней в палату. Ее опасения подтвердила нервозность жениха. Но пришел доктор.

— Доктор, вы всегда приносите мне облегчение.

Он действительно принес кое-что для нее. Наладил систему, уверенно подключил капельницу.

— Сейчас вы окажетесь в старом парке, перед большим домом. Он выстроен очень давно, поэтому вид его мрачен. Не пугайтесь, внутри он хорош. Идите, потом расскажете, кого повстречали...

Обычно она встречала его, доктора, он был в бархатном зеленом джеркине, рыжеватые волосы пахли горькой травой.

* * *

Ни одного имени. Два дыхания — и ни одного имени. Капля повисает и падает.

Ни много ни мало – не много и не мало. Гора становится розовой.

Огромное стеклянное озеро, огромная стеклянная река. И человек в своей повседневности кажется себе стеклянным, но замутненным, недостаточно ясным. В нем, конечно, есть прозрачность, но также есть и темнота. Она распределена неровно. У кого-то светлый ум, но темная душа, у кого-то наоборот. Но большинство непрозрачны равномерно, поэтому так сложно сказать, каков человек.

Это было совсем не то место, куда она попадала обычно. И это не был обещанный старый дом. Здесь содержались в равных частях пронзительный холод и чудовищная жара. Они высасывали воду из всего, что ее имело. Трава желтой щетинкой покрывала круглые бока красноватой земли. Ни одного строения, только розовая гора на фоне просыпающегося неба.

— Где я?

Но это «где» не имело смысла. Потому что это было «нигде», посреди, внутри или вокруг.

Шел огонь, но, быв еще далеко, предсказывал себя

полосой жиденького дыма. Вслед за огнем шли кочевники. К стеклянному озеру, к стеклянной реке.

Она обманута?

Степь дрожит и раскаляется. Волнами расходится от огня знакомый горький запах. Кони, идущие за огнем, растопчут все, что не сторело.

* * *

— Каждый ее сон был реальней предыдущего, чище, яснее. Она была в плену, но была и свободна, — хвастливо произнес дьявол.

Психиатрическое отделение расположилось в старинном больничном корпусе. Внутри – обезличивающий пластиковый ремонт, снаружи – лепнина и балясины. Вокруг – ни деревца. Ближе к стенам – забор, по верху которого ползет колючая проволока. Для кого? Никто отсюда не бежал и уж тем более никто не стремился сюда попасть.

В двухстах метрах – берег реки, которая так спокойна, что кажется стеклянной. Спокойных больных водят на берег часто. Часто водят и на остров, через бетонный мостик. Обычно водят утром, когда на острове нет других гуляющих. Никто не собирается бежать – зачем? Если так можно было бы сбежать от себя самого, в этом был бы смысл. Но твой кошмар всегда с тобой и тешится, глядя на то, как ты погибаешь — жизнь, которую предложили ей здесь, только поначалу казалась мирной.

Лишь поначалу у нее была надежда. Она бродила по местам прекрасным, хотя и покинутым: был город или пустой дом в старинном парке. Потом появились леса и, наконец, степи. Она встречала одного и того же мужчину, лицо которого было знакомо и рождало хоть и

тревожные, но желанные воспоминания. Но их разговор никогда не бывал закончен. Слова, сказанные и не сказанные, клубились в ее голове, создавали иллюзии все более темные. Они затемняли дом, город, создавали демонов. И постепенно картины ужаса вторглись даже в длинные прозрачные степи, где простое славное течение жизни перебивалось только лишь смертью, естественной в любом обличье: убивающего воина или старика, отходящего в окружении слезоточащей родни.

— Но в больнице, тем не менее, было очень хорошо – вежливый персонал, хорошая еда, уютная обстановка. Я приходил к ней каждый день. Она казалась мечтательной. Сама мечтательность. И я вижу, как эта мечтательность бреет себе ноги... — выкрикнул дьявол. Что-то ускользало от него, чего-то он не мог увидеть. «Подумай об этом», — сказал ему Господь. Что он имел в виду? Дьявол внимательно огляделся, словно рассчитывал найти отгадку на этой дороге, в этих темнеющих деревьях, в тяжелом небе.

Ночь подходила к концу. Рождалось утро, всё — в ее слабой розовой крови. Земля перестала пузыриться. Встрепенулись какие-то пташки, засмеялись в кронах. Листва срывалась безо всякого ветра, аккуратно осыпалась, ложилась ровной яркой подкладкой, готовясь принять снег.

Рыцарь и его конь по-прежнему являли единую неподвижную фигуру. Но теперь эта фигура уже не была жалкой. От нее исходила простая верная сила. Дьявол же, сидевший посреди дороги на огромном камне, словно бы стал меньше. К отрогам горы по-прежнему летели нескончаемым потоком черные птицы.

— Однажды я все-таки спросил ее о любви. Она сказала, что знает о ней так много, что всей ее жизни не

хватило бы, чтобы выразить хотя бы ничтожную часть этого знания. И она не пожелала сообщить мне то, что знала. Я пообещал, что ее мучения растянутся еще на три жизни, если она не даст ответа. Конечно, обстоятельства были неблагоприятны для продолжительных философских разговоров, я это понимаю. Но ведь наши отношения были особенными...

Их отношения были особенными. Она сидела в клетке, как добыча, пальцы на левой руке были раздроблены конским копытом. Тот, кто приходил к ее клетке еженощно и заставлял говорить, казался ей знакомым. Она не помнила такого лица, не помнила таких жестких рук, но знала ощущение, которое наваливалось на нее вместе с его тяжелым телом, и знала горьковатый запах.

Наяву открывая глаза, она видела решетку на окне и высокий грязновато-белый потолок. Доктор (почему он так знаком ей?) задавал вопросы, но она теряла способность понимать его. Она слышала слова, сцепленные между собой, но значения их были ей неведомы, словно доктор говорил на неизвестном языке. От него исходил горьковатый запах. Она чувствовала, что все ее переживания стерлись, осыпались. Она знала реальности, в которых поочередно пребывала – но только до тех пор, пока пребывала там. Память как таковая больше не имела смысла.

— Она больше не хотела говорить со мной. И, признаюсь, я был зол на нее. А ты? Ты был на нее зол? Она ведь все испортила, правда? Она хотела навязать тебе младенца, потом убила его, потом встала на рельсах, желая покончить с собой, потом по собственному желанию отправилась в психиатрическую клинику. Она наказывает себя. Она наказывает тебя. Она почти за-

была тебя – а ты ее нет. И не забудешь – потому что она вся – твоя вина, она вся – твоя причина. Разве ты сейчас не в клетке, разве ты не закован в железо? – дьявол повысил голос, из его горла вышел какой-то дурацкий писк. Последняя листва покинула придорожные клены. Пошел снег.

Если бы кто-то мог взглянуть на эту на дороге, он бы заметил, что посередине стоит большой камень, наверху которого сидит в позе лягушки маленькое дрожащее крылатое существо.

* * *

Снег разошелся, летал огромными хлопьями, напоминающими скорее облака, чем снежинки. Но потом хлопья улеглись, успокоились.

Если бы кто-то взглянул на дорогу, которую осенил настырный солнечный луч, он увидел бы, как по ней размеренно движется всадник, закованный в черное железо. За ним прыгает, стараясь не отставать, какое-то красноватое существо. Его слабые крылья бессмысленно повисли, неспособные поднять в воздух даже такое жалкое тельце.

Черная дорога ведет в сторону большой горы, куда слетаются тучи птиц. Говорят, на горе, в темном лесу, в отдалении от больших дорог, в местности почти безводной, стоит замок, чьи башни и боевые галереи обращены внутрь.

— Человек – это замок, который построен так, чтобы не выпустить наружу нечто, — замечает дьявол, все еще надеясь, что рыцарь заговорит с ним. Дьявол прыгает, стараясь не отставать, но ему все труднее.

Рыцарь молчит и продолжает путь.

Они достигают ворот замка и останавливаются в тот

самый момент, когда она открывает глаза и видит высокий грязноватый потолок. Ее руки и ноги обездвижены. Пересохшими губами она шепчет:

— Ключи...

Язык плохо повинуется ей. Она говорит громче. Потом выкрикивает:

— Где ключи?!

Потом успокаивается:

— Замок немного заржавел, но это ничего...

Приходят доктор и медсестра, которая развязывает ее и переодевает в чистое и сухое. Доктор улыбается, шутит и расспрашивает о самочувствии. Берет под руку, ведет завтракать, обещает прогулку. Сегодня им предстоит совершить путешествие на остров.

СОДЕРЖАНИЕ

ТУРИСТ

3

ОГУРЧИК

31

ОТКРЫТОЕ МОРЕ

57

ПОСЛЕДНЯЯ СТАНЦИЯ

113

ОЛЯ ХНЫКИНА И ДРАКУЛА

137

ОСТРОВ

177

КЛЮЧИ

201



Светлана Анатольевна Михеева

Открытое Море



Корректор К.Кувайцева
Верстка и оформление А.Мартынова

Издательская серия «Переplet»
Иркутского регионального представительства
Союза российских писателей



16+

Формат 60x90 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура Minion Pro.

Усл. печ. л 13,6. Тираж 500 экз.

Отпечатано в типографии «Репроцентр А1»

Иркутск, ул.Александра Невского, 99\2.

www.printrepro.ru

Светлана
Михеева



Живет в Иркутске. Окончила Литературный институт им.Горького. Поэт, прозаик, эссеист. Автор пяти книг. Произведения публиковались в журналах «Дружба народов», «Интерпоэзия», «Сибирские огни», «Юность», «Волга», «Байкал», «Журнал поэтов», «Грани», «Литература» и других.

Член Союза российских писателей, возглавляет Иркутское региональное представительство СРП.